2 руб.
Индекс 73607

ISSN 0130-217X

Кубань

Август 1991

ДИВЕЕВО, 1991 ГОД...

Второе обретение мощей Серафима Саровского

Кубанские казаки в Дивееве

Август
1991
Издается с 1945 г.

Независимый русский журнал
Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячник

Содержание

Иван Шмелев

ДУША РОДИНЫ

I

Я не собираюсь учить любви к Родине: многие знают это лучше меня, доказали на деле и носят доказательства в себе. Я хочу выбить из души искры, острей ощутить утраченное, без чего жить нельзя. Если бы мы все любили так, как те, кто отдал себя за Родину! За что отдал?! А мы за что влачимся вдали от Той, которая носила полное тайны имя — Россия?! Я хочу попытаться сказать — за что.., подумать о том, как найти Родину и сделать ее своей и светлой.

В путях исканий мы должны видеть верный маяк, минуя обманчивые огни, что мигают и там, и там..

Что это значит — найти Родину? Прежде всего: душу ее почувствовать. Иначе — и в ней самой не найти ее. Надо ее познать, живую! Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки: ее поэты; по ней томятся, за нее отдают себя. Отдают себя за ее лик, за душу; ими вяжет она с собою. Люблю, а за что — не знаю, не определить словом. Тайна — влекущая за собой душа Родины: живое, вечное, — и ее только. Поэты называют ее Женой, Невестой; народ — матерью и все — Родиной. Что же родное в ней? Все, что заставляет трепетать сердце, что переплеснулось в душу, как через один взгляд неожиданный вдруг перельется из родных глаз бездонное, неназываемое... без чего — нельзя. Ей шепчут в ночи признания. Ее в снах видят. Она смотрит в душу родным небом, солнцем и непогодами. Она говорит нам родною речью — душою слов, своими далями и путями... Вяжет с собой могилами. Вливается в сердце образами Великих, раскидывается в летописях и храмах, в куполах, в колоколах.. Чуется вся в свершенном, зовет-увлекает далями. В путеводных огнях-маяках видится нам ее Духводитель — Бог ее!

Россия имела свои маяки, и уделено ей было непобедимой волей, я скажу — Божьей Волей, что и всем народам, исполнить пути свои.

Народ не знает, что такое его Россия, какие пути ее. Чувство Родины для него узко, мелко: свое у каждого. Но из этих мельчайших нитей скручена великая пуповина: она вяжет народ в одно. И непонятными нам путями творит народ свою великую эпопею — многоглазый слепой Гомер. Постигают Родину просвещенные и глубже — одаренные творчеством. Эти умеют чуять, им в душу вбивают Родину и выступают от ее имени полноправно: они ее выразители. Они подлинно ее дети, ее певцы, кормчие и советники, защита и оправдание — выражение ее Лика. В них ее чувства, цели. На всех путях ее мы знаем таких Великих, через них крепче вяжемся. Они сказали о ней, ласковой и широкой, отыскивающей Правду. Какую Правду? Давнюю, что залегла в сердце Христовым Словом, принесенным на берега Днепра неистовому и светлому народу. Ту Правду русский народ называет Божьей, и слово поэта: "Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя..." — крепкое чаянье души России. Вот тот маяк, по которому — пусть сбиваясь — направила свой путь Россия. От пушкинского "Пророка" — "...и Бога глас ко мне воззвал: Восстань, Пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей! И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!" — от тютчевских провидений судеб России, от некрасовского Власа, богоборцев, провальников и голубиных душ Достоевского до его каторжан из Мертвого Дома, до исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленко, до баб немых у костра вешней холодной ночью в рассказе Чехова, и дальше, в литературе нашей, все сильное и глубокое пронизано лаской, светом, стоит на Христе — на Боге и от Бога. Вот они, цветы наши, набирающие жизнь-силу от корней Родины: так силилась душа России. Теперь цвет этот побит морозом.

В великом сонме святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского, всерусскими ставших с урочищ и уездов, и многих-многих, души высокой, народных подлинно. Вы встретите обвеянного народной лаской нашего Миколу Милостивого, данного русской литературе творчески Куприным, и Богородицу-Печальницу, и милосердного Ее Сына-Спаса, и даже ветхозаветного Илью-Громовика своего, мужика строгого, хозяина и по-мужичьи справедливого, его величавый образ создал чутко и жутко Бунин. Они, святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды — до поражающего явления русских "старцев", хранителей духовности народной, тех таинственных глубиной колодцев, к которым пытливо и углубленно подходили два великана — Толстой и Достоевский и в них гляделись. И лишь один Горький, отщепенец светлого духа России, остался и слеп, и глух к певучим родникам Родины. Это искание Правды, желание строить жизнь с Богом и "по-Божьи", взыскание Града Небесного, Китеж-Града, тоска, что все еще нет его, что не нашла его и видимая Церковь, толкает народ на сотни путей сектантства. "По-Божьи" — заветное слово русского народа. Вот с этим-то "по-Божьи" творчество наше так и войдет — и уже входит! — в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять у нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Может быть, за "печать"-то эту и получили мы, русские, удивление разумных европейцев, кличку "страшных", что идут туда — не знаю куда, ищут того — не знаю чего. Да, ищем. И найдем, быть может!

Вот что такое — светлая сторона души России! Вот чем она нас вяжет! Града Небесного взыскует, тянется к книге Голубиной. Ищет золотые ключи, что отомкнут неведомые двери в неведомое Царство, — ключи, о которых и до сего дня грезят, которых пока не найдено. Это знали иные нетерпеливцы, и — одни сослепу, другие из темных чувств — сунули в руки искателя отмычку. Но не открылось. Тогда сунули топор в руки — и проломил народ свои двери...

Вина за это лежит и на русской интеллигенции. Не на всей: не на выразителях подлинно русского духа, светлой стороны духа этого, не на создателях русской славы, а на отщепенцах духа, послуживших потемкам духа, на вождях неправды, на серой интеллигентной туче...

Об этом важном и страшном явлении русской жизни я скажу в свое время, как и о путях неправды, по которым вели властители. Дух Живой уходил из жизни, как уходит теперь повсюду. Дух Живой уходил от Церкви, она ослабела: правили оболочку, а не душу. Порабощенная властью Церковь не оплодотворяла душу. А она, молодая, ждавшая Жениха своего, вся в порывах на высоту и в дали, искала, разметавшись, ждала... И не дождавшись Града, метнулась к аду... И ринулась!.

II

Русская душа — страстная, в созерцательности восточной. Это душа художника и певца, музыканта и лицедея, юродивого и кликуши, богатыря и дерзателя, которому все по силам. Ее познали чуткие из европейцев. Жозеф де Местр сказал метко: "Если бы русское хотенье смогли заточить под крепость — оно бы взорвало крепость."* Он чутко сказал о дерзаниях и о "пользе" русской и — дивное дело! — за столетия предвидел: "Представим себе, что такому народу дана

* Le Comte Josef de Maistre. Quatre Chapitres inedits sur la Russie. Paris, 1859. P. 21

свобода, и я решительно утверждаю, как в ту же минуту повсюду заполыхает пожар и пожрет Россию."*

Пророчество оправдалось.

Наша интеллигенция безотчетно и безотмерно хватала все, что винным ударило в голову, — до безбрежья социализма. Она не жевавши глотала все философии и религии, царапалась на страницы Ницше и сверглась в марксистскую трясину. От "ума" вкусила, поверила только пяти чувствам — и отвергла Бога: сделала богом человека. Она любила минутно и отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимая отсветами религий, "до слез наслаждения" спорила о правде и справедливости и взяла за маяк — туманность. Этот маяк был для народа смутен. Народ вынашивал своего, Живого Бога Правды, ему доступного, веления коего непреложны. Народ понимает чутко и Свет, и Тьму, и грех, и духовный подвиг. Этого Бога в народе не раскрыли: ему показали иного Бога — его самого, человечество — бога-призрак. Народ сводили с высот духовности, вели от Источника, к которому он тянулся. Над его суевериями "издевались". Над миллиардами верст святой страды, над путями к Угодникам смеялись. Теперь эти пути закрыты, и останки Великих духом с издевкой кинуты. Теперь гонят народ к иным "мощам", где кадят пороховым дымом, где вместо духовных песнопений кричат всечеловеческую песнь ненависти и утешающий свет лампад заменили рефлектором. Народу показывали в далях туманный призрак. Ему давали тусклые "гуманистические идеалы" — мало ему понятное. Народу-мистику, жадному до глубин духовных, указали пустую отмель. Он Живого Бога хотел — ему показали мертвого. Он ожидал Неба — ему предложили землю, глушили совесть. Ему с исступленностью внушали: человечество, свобода, равенство, братство! Для него это было — сухие листья, что с пылью сметает ветром, — лишенное тайны и повеления. Ему был нужен Бог во имя плоти, Любовь и Живое Слово, Учитель кроткий: ему показали злобу, зависть и — "коллектив". Его подвели к провалу. И он — оторван. Одни не могут познать Живого Бога, не могут вместить в усыхающую душу, узкую и земную, вольных пространств Христианства — и все же тщатся найти ключи от дверей жизни — справедливой. Они стоят на путях пустынных. Я говорю не о социализме: из этой религии только плоти выход один — в тупик. Крайние этой секты — коммунисты это смердяще показали. Более скромные — разбавка. Я говорю о "демократах", что не могут выбить из своей души искру живой веры, народной веры, — без Бога демократах. Они честны, но... динамита, которым взрывают души, они не знают. Теплы — и только

*Ibid. P. 22.

Равенство!.. Больше столетия топчутся все на том же месте. Где только прах, только неповелительная туманность гаснущих идеалов, — равенства никогда не будет. Тепловатым словам не вырвать из человека занозу власти и корысти. У демократии-неверы нет тонкого инструмента, который равняет без обид, чудесной почвы, на которой все равны перед Беспредельным! Равенство во Христе: равенство дружных Христовых достижений!

Не в силах они ввести и братство: братство не от ума рождается, а из живого сердца, которое носит Бога. Ну, во имя чего мог бы я стать братом хотя бы для Мак-Дональда? Что человеческое у каждого из нас лицо, и только? Вот если бы он признал во мне отражение Божьего Лика, если бы и он уверовал, что мы оба имеем божественную душу, оба мы равные песчинки, затерянные в Беспредельном, оба в Лоне Господнем пребывали... если бы он на мое — во Христе брат мой! — ответил душевным братством, мы почувствовали бы это братство и пошли бы в нашем пути дальнем рука в руку. И он не пожал бы тогда — за выгоду — руки убийцам миллионов братьев!

Дайте же Цемент, крепчайший Цемент, чтобы спаять человеческие осколки. Нет у вас Цемента, а в ваши прописи я не верю: они рвутся и затираются. Обманны, смутны велеречивые прописи — демократия, человечество, культура, свобода, равенство...

Борясь со смертной природой, не могут демократы создать свободы. Свобода там, где обуздываем себя во имя освобождения Величайшего, во имя вселенских целей. Что проку, если получили и все свободы по парламентскому декрету, а самой главной, свободы духа, и не получили?! Останемся рабами плоти?! А свободы духа не даст никакой парламент. Тогда — грызня. Ибо мы — сами боги. И к каждому надо приставить городового. Так это и есть свобода? Так эти права-то человека?! Чего такие права стоят!..

Права человека... Есть высокое учреждение, на основе гуманности и демократизма, — Лига Прав Человека! Вся из прописных букв! Много талантов, умов и благородных сердцем... И вот, смотрите: какую заслуженную нотацию прочитал этой высокой Лиге профессор Милюков, сам демократ и республиканец! Да, демократ, но... русский демократ и русский республиканец. Сказалось русское. Он решительно подчеркнул измену Лиги даже основам человечности, указав на старания Лиги, чтобы признали большевиков хозяевами русского народа, полноправными членами семьи народов, признали этих убийц, сознательных и исступленных, пославших миллионы людей на бойни! Мучивших пытками, разоривших Великую Россию! Что для Лиги живые?! В хлопотах о правах Человека, с прописной буквы, Призрака-Человека, Лига забыла о миллионах теней человеческих: они выпали из "человеческого оборота" — выписаны в расход! Забыла и о работающих бойнях. Признать право на убийство — высокое право Человека! Вот оно, Слово Высокой Лиги! Вот куда точеный гуманизм, утонченный "демократизм" уводят!

Вслепую тычется человечество, нет у него основы: ушел из него Дух Божий. Или не видите тупика, где жизнь толчется, где демократия без души — суть и бог? А величавые перспективы — где? Их нет, и слышно, как вздрагивает земля.

Я не отвергаю народовластия — народной души и воли. Да будет оно! Оно — на основе Христовой Правды. Это народовластие — куда шире! Этот демократизм — живое. А тот, рассудочный, прописной, — неповелителен и легко тускнеет. Взгляните на великие города — точные отражения нашей жизни, — на эти торжища человечьего стада, рвущегося за мясом жизни! Нет уже духа жива, и люди — шоферы и лакеи, рвачи-шоферы, в вонючей коже, в вонючем масле... Мчат они в реве-гуле, рвут чаевые и "по часам". Ведут машину — тысячеглазую, тысячерогую, покорную, как раба. И давят в беге своем живое, оставляя угарный след. Сбросит она порой, ударит и разбивается на куски. Тонкость безмерная, исполнительское чванство, всемирное второклассничество! От кинема получают Слово! Все бело, смешно и плоско, и пахнет в мире бензином и потеющим "Максом", пьянем и пудером всех сортов. А чистые линии, рожденные из голгофской Крови?! Взмыли моторы не на Голгофу и сбили Крест, подавили святые линии. Жизнь немеет...

Есть и еще иные, у которых хватает духу во имя уязвленной национальной гордости, во имя будто нравственных оснований звать: возвращайтесь на родину! Туда, где заматывают душу и убивают тело. Идем к народу, страдать! Не возрождаться и возрождать, — этого там не дозволено, — а примириться в скорби! С убийцами матери примириться, с убийцами души примириться, признать их народной властью. "Ведь примиряемся мы с грязью, по которой ходим?!" Сравнение-то какое, — скользкое! как грязь!! Или это — смирение — инфернальное, сладостное "провальным душам"? не во имя попранного Бога? Гниет душа — дальше, дальше от ее смрада!

Что бы сказала совесть народная такому инферналисту? Сказала бы: "Не отымай последнего! там, за рубежом, хоть и без меня — мое зреет, душа моя! Не тащи на свалку!"

Придет время, и народ свое скажет: Правда его не выбита!

III

Я бегло отмел слои зарубежной интеллигенции, попробовал их-то Правду. И думаю: не от чистой они души России.

Но есть многие души российской, которые знают сердцем. Они Бога в душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безоглядно, отдавали себя в порыве. Они правду России чают. Из них первые — горячая молодежь наша. Из них первые — истинные сыны народа, не от сословия и не от классов, а от целой, живой

России. И вольные сыны степи и рек больших, буйная кровь России, с Тихого Дона и Кубани, — казачья сила, покорная лишь своей воле да России. И от трудовой земли — крестьяне, от Креста-Христа принявшие крестное свое имя. И ото всех русских состояний и сословий молодые. Они, лучшие, принимали и смерть, и муки. Они на своих знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя — Россия. Они не сдались. Они вернут России ее Имя — Душу! Они связаны с ней кровной пуповиной! Здесь они, крепкие. Здесь — и ищут. На тяжелых работах, в шахтах, на заводах, на чужих дорогах, под чужим небом, в глуши и в пыльных городах мира, израненные телом, с язвами и камнями в сердце, — и все же они живые! Израненные души чутки, и они ищут прочные устои. Многие, разуверившись в духовных вождях своих, какие у кого были. В одном не разуверились — в своей Правде, в своем праве и долге — найти Россию. Они чуют-видят, какая кругом неправда. Этим выковывают — свое.

Да, нужно пересмотреть пути — и не молодежные только! — и выбрать верный, что по душе России, — путь не мелкой "будто правды", а Великой Правды, которую нельзя нарушить. Христовой Правды, Правды величайшего дерзанья. Правды и Любви великой. Нужно прислушиваться к тем, кого русский народ мог бы назвать своими, если бы слышал и постигал; к тем, кто верит в Великую Христову Правду, верит, что надо ее свести на землю. Есть такие за рубежом — учители русской Правды. Они прислушиваются к недрам, они их чуют. Они знают и чутко верят, что нужно Величайшее положить в основу, Слово Животворящее, Слово Бога. Будить и поднимать души, звать к подвигу...

Грядем, Господи! Мы берем Крест, и мы понесем его! И жизнь освятим Крестом! Души свои отдадим на Крест! Умеющие слушать да прислушаются к душе России! Она им скажет пути свои, пути Божьи, пути прямые. Этих путей не видно слева — там коллектив и его корыто. Там нет Неба! А что — направо? Прокладываются ли пути Света? Божьи ли пути метят? Если и там без Христа, если и там старые дрожжи только и мясо жизни, и "наши земли", и камергерские мундиры, и там нет братства, и там не в силах сказать: "Брат мой!" — не с ними пути наши! Наши пути прямые, пути Божьи, пути широкой души народной, объемлющей Любовью.

"Приидите, все верции! приидите, труждающие и обремененные! чистии сердцем, приидите — и поклонимся Христову Воскресению!!" Может подвигнуть себя, Россия?! Подвигни, дерзай, есть сила! Верю — есть сила.

Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем делать! Братски, во славу Христову делать! По деревням и городам, по всей земле русской пронесем мы Слово творящее, понесем в рубищах, понесем в огне веры — и выбьем искры, и раздуем святое пламя! Мы все сольемся в одно — мы вырвали из себя грехи гордыни и преимуществ, ибо мы все ничтожны перед Беспредельным!

Не о пустыне говорю я, не о пещерной жизни, не об опрощенстве, что может грезиться в сиротстве и нищете нашей. Нет, мы освятим Светом и жизнь "плоти"! Мы часто слышим голоса силы и молодой мощи: Россия станет Америкой. Пусть станет. Новой Америкой одухотворенной плоти! Мы — молодой народ, сильный, у нас величайшие таланты. Но кому дано много, с того и много взыщется. Не затучнеем и не задремлем! И всему миру покажем пути иные! Жизнь запылает силами. Но пусть эта жизнь на американскую колодку будет пронизана Светом Разума, во Христе! Без этой основы, без Христовых далей — пуста Земля и дичает... К чему тогда и мораль, и идеалы? Для сказки, что ли, чтобы не скрипело? Плевать тогда на тебя, идеал случайный! "Хочу автомобиля!" И если силен — вышвырну и сам сяду! Где пределы дерзаний сильному, оголившемуся человеку?! Все можно. Можно человека под ярмо вдеть, миллионами убивать на бойнях, на подметки пустить во имя... босоногого человечества! Сказка ли это? Это же подлая быль порабощенной Руси, где миллионы душ пущены на навоз для неведомой жертвы будущего!.. А какие же говорились речи! Где поручители, что и у других речистых их речи не потянут кровью? ярмом не скажутся?! Где нет Бога — там будет Зверь.

Опаляющим огнем веры зажжем душу свою и народа душу, — и отвалим от гроба камень, дадим волю живым ключам. Как загорится тогда Россия, Живого Бога попрaвшая! Что за взрывы духовные увидим! Они взорвут самые недра и освободят подспудное. Вся цитадель взорвется, как крепость Дьявола. За тем и народ пойдет, на все дерзающий, кто сможет душу его понять и оплодотворить ее.

Разбудите же в себе силы созвучные, раздуйтесь в пламя! Миссия, миссия России! Вот она, миссия, — Бога найти живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и Миру! Не грохочущую в реве-раже машину — человечество, а нового человека явить миру, воплотившийся образ Божий, Спаса! Иначе — смерть. Вот она, миссия! Во имя сего стоит дерзать, дерзать!.. И тогда только окупится вся кровь и все муки; только таким дерзаньем!

Виталий Бакалдин

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА*

ФАМИЛИЯ

"Бакáлда... ямина, которая наливается водой по весне и остается как бы озерком..."

Из "Толкового словаря" Владимира Даля

Бакалда наливается водой
веселого весеннего разлива.
Над ней, случалось, в давности седой
иной чудак селился сиротливо.
Он воли и земли себе хотел,
он их искал в исходе и в походе
и распахал заветный свой надел
что ни на есть на самой на свободе.
Теперь мы говорим:
"Начать с нуля..."
Он слов таких мудреных и не ведал.
Росли и умирали тополя,
ведя свой счет невзгодам и победам.
Что хата на отшибе —
не беда...
Зато и в август белого накала
под очеретом пряталась вода
и до другой воды не иссякала.
Вода водой,
а жить дано трудом,
чтоб снизошла на грешных
милость Божья,
и за плетнем лепился новый дом
в глухом краю степного бездорожья.
Отсюда и фамилия взялась...
И потому под небом Предкавказья
с однофамильцем призрачную связь
я почитаю чуть не кровной связью.
Сменялись воды, судьбы и года.
Но есть грустинки крошечная малость,
что та живая талая вода
лишь памятью фамилии осталась,
что предков сыновьям я назову
не дальше, чем до третьего колена,
и не сорву могильную траву,
проросшую из высохшего тлена.
Ученейший народ мои сыны
с их тайнами под линзой микроскопа,
но иногда пусть видятся им сны
от батогов бегущего холопа.
И пусть тоска прихлынет в их сердца,
коль вдруг приметят в мареве прогретом
пятнистый склон степного озерца
за белой хатой, крытой очеретом...

* * *

"Мы едем, едем, едем
В далекие края..."

С. В. Михалков. Веселые путешественники.

Вот и точка...
Псу под хвост
все, чем жил
и с чем я рос...
Пионерских песен поезд
покатился под откос...
От тоски последних стонов
не податься в никуда.
Из поверженных вагонов
смотрят мертвые года.
Исковерканные строфы,
немота разбитых нот,
небывалой катастрофы
ночь мучительных длиннот.
Полыхает пламя пышно,
как в саму войну,
точь-в-точь,
да не видно
и не слышно
тех, кто мог бы тут помочь.
Ни врачей
и ни саперов,
кровь из ран еще свежа,
шарят лапы мародеров
в теплых душах багажа.
Человечки тусклой масти
(благо снег для них закон!)
что ни есть порвут на части,
как водилось испокон.
На печальные останки
ляжет снега седина...
А была на полустанке
стрелка переведена.

ЮРОДИВЫЙ

Из больной души
ужас выпростав,
шел юродивый по Руси,
указуя на знак Антихристов,
им узримый на небеси.
Бес смердящий являлся к ночи ли,
огнь ли адский
звезда несла,
власть Антихристову пророчили
прорицатели — шесть числа...
И в эпоху прогресса
кстати ли
вспомнить вдруг суеверий чад?
Так ведь вновь у нас
предсказатели
и пророчицы
нарасхват!
Разбираемся мы покудова
с лжевитиями наших дней,
на Святой Руси власть Иудова
всех Антихристовых
страшней...

---

* Первая часть цикла опубликована в журнале "Кубань" № 12, 1990.

Иван Солоневич

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ*

КРИВАЯ ИДЕТ ВНИЗ

Самым жестоким испытанием для нас в эти недели была угроза отправки Юры на БАМ. Как достаточно скоро выяснилось, ни я, ни Борис отправке не подлежали: в наших формулярах значилась статья 58-6 (шпионаж), и нас Якименко не смог бы отправить, если бы и хотел: наших документов не приняла бы приемная комиссия БАМа. Но Юра этой статьи не имел. Следовательно, по ходу событий дело обстояло так: мы с Борисом остаемся, Юра будет отправлен один — после его летней болезни и операции, после тюремной и лагерной голодовки, после каторжной работы в урчевском махорочном тумане по 16—20 часов в сутки.

При самом зарождении всех этих бамовских перспектив я как-то спросил Якименко об оставлении Юры. Якименко отвечал мне довольно коротко, но весьма неясно. Это было похоже на полуобещание, подлежащее исполнению только в том случае, если норма отправки будет более или менее выполнена. Но с каждым днем становилось все яснее, что норма эта выполнена быть не может и не будет выполнена.

По миновании надобности в моих литературных талантах Якименко все определеннее смотрел на меня как на пустое место, как на человека, который уже не нужен и с которым поэтому ни считаться, ни разговаривать нечего. Нужно отдать справедливость и Якименко. Во-первых, он работал так же каторжно, как и все мы, и, во-вторых, он обязан был отправить и всю администрацию отделения, в том числе и УРЧ. Не совсем уж просто было послать старых работников УРЧ и оставить Юру. Во всяком случае, надежды на Якименко с каждым днем падали все больше и больше. В связи с исчезновением могущественной якименковской поддержки снова в наши икры начала цепляться урчевская шпана, цеплялась скверно и в наших условиях — очень болезненно.

Мы с Юрой только что закончили списки третьего эшелона. Списки были проверены, разложены по столам, и я должен был занести их на Погру. Было около трех часов ночи. Пропуск, который мне должны были заготовить, оказался не заготовленным. Не идти было нельзя, а идти было опасно. Я все-таки пошел и пришел. Придя на Погру и передавая списки администрации, я обнаружил, что из каждого экземпляра списков украдено по четыре страницы. Отправка эшелона была сорвана. Многомудрый актив с Погры сообщил Якименко, что я потерял эти страницы. Нетрудно было доказать полную невозможность нечаянной потери четырех страниц из каждого из 12 экземпляров. И Якименко также нетрудно было понять, что уж никак не в моих интересах было с заранее обдуманной целью выкидывать эти страницы, а потом снова их переписывать. Все это так. Но разговор с Якименко, у которого из-за моих списков провалился его "промфинплан", был не из приятных, особенно принимая во внимание Юрины перспективы. И инциденты такого типа, повторяющиеся приблизительно через день, спокойствию души не способствовали.

Между тем эшелоны шли и шли. Через Бориса и железнодорожников, которых он лечил, до нас стали доходить сводки с крестного пути этих эшелонов. Конечно, уже и от Погры (погрузочная станция) они отправлялись с весьма скудным запасом хлеба и дров, а иногда и вовсе без запасов. Предполагалось, что аппарат ГПУских баз по дороге

---

* Окончание. Начало в № 1—7.

снабдит эти эшелоны всем необходимым. Но никто не снабдил. Первые эшелоны еще кое-что подбирали по дороге, а остальные ехали Бог уж знает как. Железнодорожники рассказывали об остановках поездов на маленьких заброшенных станциях и о том, как из этих поездов выносили сотни замерзших трупов и складывали их в штабели в стороне от железной дороги. Рассказывали о крушениях, при которых обезумевшие люди выли в опрокинутых деревянных западнях теплушек, слишком хрупких для силы поездного толчка, но слишком прочных для безоружных человеческих рук.

Мне мерещилось, что вот на какой-то заброшенной зауральской станции вынесут обледенелый труп Юры, что в каком-то товарном вагоне, опрокинутом под откос полотна, в каше изуродованных человеческих тел... Я гнал эти мысли, они опять лезли в голову. Я с мучительным напряжением искал выхода, хоть какого-нибудь выхода, но его видно не было.

ПЛАНЫ ОТЧАЯНИЯ

Нужно, впрочем, оговориться. О том, чтобы Юра действительно был отправлен на БАМ, ни у кого из нас ни на секунду не возникло мысли. Это в вагоне номер 13 нас чем-то опоили и захватили спящими. Второй раз такой номер не имел шансов пройти: или Юре удастся отвертеться от БАМа, или мы все трое устроим какую-то резню и, если пропадем, то по крайней мере с треском. Только Юра иногда говорил о том, что зачем же пропадать всем троим, уж если ничего не выйдет и ехать придется, он сбежит по дороге. Но этот план был весьма утопичен. Сбежать из арестантского эшелона не было почти никакой возможности.

Борис был настроен очень пессимистически. Он приходил из Погры в совсем истрепанном виде. Физически его работа была легче нашей, он целыми днями мотался по лагпунктам, по больницам и амбулаториям и хоть часть дня проводил на чистом воздухе и в движении. Он имел право санитарного контроля над кухнями и питался исключительно "пробами пищи", а свой паек — хлеб и по комку замерзлой ячменной каши — приносил нам. Но его моральное положение — положение врача в этой атмосфере саморубов, расстрелов, отправки в этапы заведомо больных людей — было отчаянным. Борис был уверен, что своего полуобещания насчет Юры Якименко не сдержит и что пока хоть какие-то силы остались, нужно бежать.

Теоретический план побега был разработан в таком виде. По дороге из Подпорожья на Погру стояла чекистская застава из трех человек. На этой заставе меня и Бориса уже знали в лицо. Бориса в особенности, ибо он ходил мимо нее каждый день, а иногда по два или три раза в день. Поздно вечером мы должны были втроем выйти из Подпорожья, захватив с собою и вещи. Я и Борис подойдем к костру заставы и вступим с патрульными в какие-либо разговоры. Потом в подходящий момент Борис должен был ликвидировать ближайшего к нему чекиста ударом кулака и броситься на другого. Пока Борис будет ликвидировать патрульного номер два, я должен был, если не ликвидировать, то по крайней мере временно нейтрализовать патрульного номер три.

Никакого оружия вроде топора или ножа пускать в ход было нельзя. План был выполним только при условии молниеносной стремительности и полной неожиданности. Плохо было, что патрульные были в кожухах: некоторые и притом наиболее действенные приемы атаки отпадали. В достаточности своих сил я не был уверен. Но с другой стороны, было маловероятно, чтобы тот чекист, с которым мне придется схватиться, был сильнее меня. План был очень рискованным, но все же план был выполним.

Ликвидировав заставу, мы получим три винтовки и кое-какое продовольствие и двинемся в обход Подпорожья, через Свирь на север. До этого пункта все было более или менее гладко. А дальше что?

Лес завален сугробищами снега. Лыжи достать было можно, но не охотничьи, а беговые. По лесным завалам, корягам и ямам они большой пользы не принесут. Из нас троих только Юра хороший, "классный" лыжник. Мы с Борисом ходим так себе, по-любительски. Убитых патрульных обнаружат или в ту же ночь, или к утру. Днем за нами уже пойдут в погоню команды оперативного отдела, прекрасно откормленные,

с такими собаками-ищейками, какие не снились майнридовским охотникам за черным деревом. Куда-то вперед пойдут телефонограммы, какие-то команды будут высланы нам наперерез.

Правда, будут винтовки. Борис — прекрасный стрелок, в той степени, в какой он что-нибудь видит, а его близорукость выражается фантастической цифрой... Я — стрелок более чем посредственный. Юра тоже. Продовольствия у нас почти нет. Каковы шансы на успех?

В недолгие часы, предназначенные для сна, я ворочался на голых досках своих нар и чувствовал ясно: шансов никаких. Но если ничего другого сделать будет нельзя, мы сделаем это.

МАРКОВИЧА ПЕРЕКОВАЛИ

Мы попробовали прибегнуть и к житейской мудрости Марковича. Кое-какие проекты, бескровные, но очень зыбкие, выдвигал и он. Впрочем, ему было не до проектов. БАМ нависал над ним и притом в ближайшие же дни. Он напрягал всю свою изобретательность и все свои связи. Но не выходило ровно ничего. Миша не ехал, так как почему-то числился здесь только в командировке, а прикреплен был к центральной типографии в Медвежьей Горе. Трошин мотался по лагерю, и из него, как из брандспойта, во все стороны хлестал энтузиазм.

Как-то в той типографской баньке, о которой я уже рассказывал, сидели все мы в полном составе: нас трое, Маркович, Миша и Трошин. Настроение, конечно, было невеселое, а тут еще Трошин нес несусветную гнусность о бамовских льготах, о трудовом перевоспитании, о строительстве социализма. Было невыразимо противно. Я предложил ему заткнуться ко всем чертям. Он стал спорить со мной.

Миша стоял у кассы и набирал что-то. Потом бочком, как бы совсем по другому делу, подобрался к Трошину и изо всех своих невеликих сил треснул его верстаткой по голове. Трошин присел от неожиданности, потом кинулся на Мишу, сбил его с ног и схватил за горло. Борис весьма флегматично сгреб Трошина за подходящие места и швырнул его в угол комнаты. Миша встал бледный и весь дрожащий от ярости.

— Я тебя, проститутка, все равно зарежу. Я тебе, чекистский..., кишки все равно выпущу. Мне терять нечего. Я уже все равно, что в гробу.

В тоне Миши было какое-то удушье от злобы и непреклонная решимость. Трошин встал пошатываясь. По его виску бежала тоненькая струйка крови.

— Я же вам говорил, Трошин, что вы конкретный идиот, — заявил Маркович. — Вот я посмотрю, какой из вас на этапе энтузиазм потечет.

Дверка в тайны трошинского энтузиазма на секунду приоткрылась.

— Мы в пассажирском поедем, — мрачно ляпнул он.

— Хе, в пассажирском. А, может быть, товарищ Трошин, в международном хотите? С постельным бельем и вагоном-рестораном? Молите Бога, чтобы хоть теплушка целая попалась. И с печкой. Вчера подали эшелон, так там печки есть, а труб нету... Хе, пассажирский. Вам просто нужно лечиться от идиотизма, Трошин.

Трошин пристально посмотрел на бледное лицо Миши, потом на фигуру Бориса, о чем-то подумал, забрал под мышку все свои пожитки и исчез. Ни его, ни Марковича я больше не видал. На другой день утром их отправили на этап. Борис присутствовал при погрузке. Их погрузили в теплушку, притом дырявую и без трубы.

Недаром в этот день, прощаясь, Маркович мне говорил:

— А вы знаете, Иван Лукьянович, сюда в СССР я ехал первым классом. Помилуйте, каким же еще классом нужно ехать в рай! А теперь я тоже еду в рай. Только не в первом классе и не в социалистический. Интересно все-таки, есть ли рай? Если хотите, Иван Лукьянович, так у вас будет собственный корреспондент из рая. А? Вы думаете, доеду? Ну, что вы, Иван Лукьянович, я же знаю, что по дороге делается. И вы знаете. Какой-нибудь крестьянин, который с детства привык... А я — я же комнатный человек. Нет, знаете, Иван Лукьянович, если вы как-нибудь увидите мою жену — все на свете может быть — скажите ей, что за доверчивых людей замуж выходить нельзя. Хе, социалистический рай!.. Вот мы с вами получаем маленький кусочек социалистического рая...

НА СКОЛЬЗКИХ ПУТЯХ

Промфинплан товарища Якименко трещал по всем швам. Уже не было и речи ни о двух неделях, ни о 35 тысячах. Железная дорога вовсе не подавала составов или подавала такие, от которых бамовская комиссия отказывалась наотрез: с дырами, куда не только человек, а и лошадь пролезла бы. Проверка трудоспособности и здоровья дала совсем унылые цифры: не больше 8 тысяч человек могли быть признаны годными к отправке, да и те "постольку-поскольку". Между тем ББК, исходя из весьма прозаического хозяйственного расчета (зачем кормить уже чужие рабочие руки?), урезал нормы снабжения до уровня клинического голодания. Люди стали валиться с ног сотнями и тысячами. Снова стали работать медицинские комиссии. Через такую комиссию прошел и я. Старичок доктор с беспомощным видом смотрит на какого-нибудь оборванного лагерника, демонстрирующего свою отекшую и опухшую, как подушка, ногу, выстукивает, выслушивает. За столом сидит оперативник, чин третьей части. Он-то и есть комиссия.

— Ну? — спрашивает чин.

— Отеки. Туберкулез второй степени. Сердце...

И чин размашистым почерком пишет на формуляре: " Г о д е н ".

Потом стали делать еще проще. Полдюжины урчевской шпаны вооружили резинками. На оборотных сторонах формуляров, где стояли нормы трудоспособности и медицинский диагноз, все это стиралось и ставилось простое: "I категория" — полная трудоспособность.

Эти люди не имели никаких шансов доехать до БАМа живыми. И они знали это, и мы знали это, и уж, конечно, это знал Якименко. Но Якименко нужно было делать свою карьеру. И свой промфинплан он выполнял за счет тысяч человеческих жизней. Всех этих чудесно подделанных при помощи резинки людей слали приблизительно на такую же верную смерть, как если бы их просто бросили в прорубь Свири.

А мы с Юрой все переписывали наши бесконечные списки. Обычно к ночи УРЧ пустел, и мы с Юрой оставались там одни за своими машинками. Вся картотека УРЧ была фактически в нашем распоряжении. Из 12 экземпляров списков Якименко подписывал три, а проверял один. Эти три шли в управление ББК, в управление БАМа и в Гулаг. Остальные экземпляры использовались на месте для подбора этапа, для хозяйственной части и т. д. У нас с Юрой почти одновременно возник план, который напрашивался сам собою. В первых трех экземплярах мы оставим все, как следует, а в остальных девяти фамилии заведомо больных людей (мы их разыщем по картотеке) заменим несуществующими фамилиями или просто перепутаем так, чтобы ничего разобрать было нельзя. При том хаосе, который царил на лагерных пунктах, при полной путанице в колоннах и колонных списках, при обалделости и беспробудном пьянстве низовой администрации никто не разберет, сознательный ли это подлог, случайная ошибка или обычная урчевская путаница. Да в данный момент и разбирать никто не станет.

В этом плане был великий соблазн. Но было и другое. Одно дело рисковать своим собственным черепом, другое дело втягивать в этот риск своего единственного сына, да еще мальчика. И так на моей совести тяжелым грузом лежало все то, что с нами произошло, — моя техническая ошибка с госпожой К. и с мистером Бабенко, тающее с каждым днем лицо Юрочки, судьба Бориса и многое другое. И была еще великая усталость и сознание того, что все это, в сущности, так бессильно и бесцельно. Ну, вот выцарапаем из нескольких тысяч несколько десятков человек, а больше не удастся. И они, вместо того, чтобы умереть через месяц в эшелоне, помрут через несколько месяцев где-нибудь в "слабосилке" ББК. Только и всего. Стоит ли игра свеч?

Как-то под утро мы возвращались из УРЧ в свою палатку. На дворе было морозно и тихо. Пустынные улицы Подпорожья лежали под толстым снеговым саваном.

— А по-моему, Ватик, — ни с того ни с сего сказал Юра, — надо все-таки это сделать. Неудобно как-то.

— Разменяют, Юрчик, — сказал я.

— Ну и хрен с ними. А ты думаешь, много у нас шансов отсюда живыми выбраться?

— Я думаю, много.

— А по-моему, никаких. Еще через месяц от нас одни мощи останутся. Все равно. Ну, да дело не в том.

— А в чем же дело?

— А в том, что неудобно как-то. Можем мы людей спасти? Можем. А там пусть расстреливают. Хрен с ними. Подумаешь, тоже удовольствие околачиваться в этом раю.

Юра вообще и до лагеря развивал такую теорию, что если бы, например, у него была твердая уверенность, что из советской России ему не вырваться никогда, он застрелился бы сразу. Если жизнь состоит исключительно из неприятностей, жить нет "никакого коммерческого расчета". Мало ли какие "коммерческие расчеты" могут быть у юноши 18 лет, и много ли он о жизни знает...

Юра остановился и сел на снег.

— Давай посидим. Хоть урчевскую махорку из легких выветрим.

Сел и я.

— Я ведь знаю, Ватик. Ты больше за меня дрейфишь.

— Угу, — сказал я.

— А ты плюнь и не дрейфь.

— Замечательно простой рецепт!

— Ну, а если придется — придется же! — против комиссаров с винтовкой идти, так тогда ты насчет риска ведь ничего не будешь говорить?

— Если придется... — пожал я плечами.

— Даст Бог, придется... Конечно, если отсюда выскочим.

— Выскочим, — сказал я.

— Ох, — вздохнул Юра. — С воли не выскочили. С деньгами, с оружием... Со всем. А здесь?

Мы помолчали. Эта тема обсуждалась столько уж раз!

— Видишь ли, Ватик, если мы за это дело не возьмемся, будем потом чувствовать себя сволочью. Могли и сдрейфили.

Мы помолчали. Юра, потягиваясь, поднялся со своего мягкого кресла.

— Так что, Ватик, давай! А? На Миколу Угодника.

— Давай, — сказал я.

Мы крепко пожали друг другу руки. Чувства отцовской гордости я не совсем-таки лишен.

Особенно великих результатов из всего этого, впрочем, не вышло в силу той прозаической причины, что без сна человек все-таки жить не может. А для наших манипуляций с карточками и списками у нас оставались только те 4—5 часов в сутки, которые мы могли отдать сну. И я, и Юра, взятые в отдельности, вероятно, оставили бы эти манипуляции после первых же бессонных ночей, но поскольку мы действовали вдвоем, никто из нас не хотел первым подавать сигнал об отступлении. Все-таки из каждого списка мы успевали изымать десятка полтора, иногда и два. Это был слишком большой процент. Каждый список заключал в себе 500 имен. И на Погре стали говорить уже о том, что в УРЧ что-то здорово путают.

Отношения с Якименко шли, все ухудшаясь. Во-первых, потому, что я и Юра, совсем валясь с ног от усталости и бессонницы, врали в этих списках уже без всякого заранее обдуманного намерения, и на погрузочном пункте получалась неразбериха. И во-вторых, между Якименко и Борисом стали возникать какие-то трения, которые в данной обстановке ничего хорошего предвещать не могли и о которых Борис рассказывал со сдержанной яростью, но весьма неопределенно. Старший врач отделения заболел, Борис был назначен на его место, и, насколько я мог понять, Борису приходилось своей подписью скреплять вытертые резинкой диагнозы и новые стандартизированные пометки "Годен". Что-то назревало и на этом участке нашего фронта, но у нас назревали все участки сразу.

Как-то утром приходит в УРЧ Борис. Вид у него немытый и небритый, воспаленно-взъерошенный и обалделый, как, впрочем, и у всех нас. Он сунул мне свое ежедневное приношение — замерзший ком ячменной каши, и я заметил, что, кроме взъерошенности и обалделости, в Борисе есть и еще кое-что — какая-то гайка выскочила, и теперь Борис будет идти напролом. По части же хождения напролом Борис с полным основанием может считать себя мировым специалистом; на душе стало беспокойно. Я хотел было спросить Бориса, в чем дело, но в этот момент в комнату вошел Якименко.

В руках у него были какие-то бумаги для переписки. Вид у него был ошалелый и раздраженный: он работал, как и все мы, а промфинплан таял с каждым днем.

Увидав Бориса, Якименко резко повернулся к нему:

— Что это означает, товарищ Солоневич? Представитель третьей части в отборочной комиссии заявил мне, что вы что-то там бузить начали. Предупреждаю вас, чтобы этих жалоб я больше не слышал.

— У меня, гражданин начальник, есть жалоба и на них.

— Плевать мне на ваши жалобы! — Холодное и обычно сдержанное лицо Якименко вдруг перекосилось. — Плевать мне на ваши жалобы. Здесь лагерь, а не университетская клиника. Вы обязаны исполнять то, что вам приказывает третья часть.

— Третья часть имеет право приказывать мне как заключенному, но она не имеет права приказывать мне как врачу. Третья часть может считаться или не считаться с моими диагнозами, но подписывать их диагнозов я не могу.

По закону Борис был прав. Я вижу, что здесь столкнулись два чемпиона по части хождения напролом со всеми шансами на стороне Якименко. У Якименко на лбу надуваются жилы.

— Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что от дачи своей подписи под постановлениями отборочной комиссии я в данных условиях отказываюсь категорически.

Якименко смотрит в упор на Бориса и зачем-то лезет в карман. В моем воспаленном мозгу мелькает мысль о том, что Якименко лезет за револьвером — совершенно нелепая мысль. Я чувствую, что если Якименко попробует оперировать револьвером или матом, Борис двинет его по челюсти, и это будет последний промфинплан на административном и жизненном поприще Якименко. Свою не принятую Якименко жалобу Борис перекладывает из правой руки в левую, а правая свободным расслабленным жестом опускается вниз. Я знаю этот жест по рингу — эта рука отводится для удара снизу по челюсти. Мысли летят с сумасшедшей стремительностью. Борис ударит, актив и чекисты кинутся всей сворой, я и Юра пустим в ход и свои кулаки — и через секунд пятнадцать все наши проблемы будут решены окончательно.

Немая сцена. УРЧ перестал дышать. И вот с лежанки, на которой под шинелью дремлет помощник Якименко, добродушно-жестокий и изысканно-виртуозный сквернослов Хорунжик, вырываются трели неописуемого мата. Весь словарь Хорунжика ограничивается непристойностями. Даже когда он сообщает мне содержание "отношения", которое я должен написать для Медгоры, это содержание излагается таким стилем, что я могу использовать только союзы и предлоги.

Мат Хорунжика никому не адресован. Просто ему из-за каких-то там хреновых комиссий не дают спать. Хорунжик поворачивается на другой бок и натягивает шинель на голову.

Якименко вытягивает из кармана коробку папирос и протягивает Борису. Я глазам своим не верю.

— Спасибо, гражданин начальник. Я не курю. — Коробка протягивается ко мне.

— Позвольте вас спросить, доктор Солоневич, — сухим и резким тоном говорит Якименко. — Так на какого же вы черта взялись за комиссионную работу? Ведь это же не ваша специальность. Вы ведь санитарный врач. Неудивительно, что третья часть не питает доверия к вашим диагнозам. Черт знает что такое. Берутся люди не за свое дело.

Вся эта мотивировка не стоит выеденного яйца. Но Якименко отступает, и это отступление нужно всемерно облегчить.

— Я ему несколько раз говорил, товарищ Якименко, — вмешиваюсь я. — По существу, это все доктор Шуквец напутал.

— Вот еще, эта старая шляпа, доктор Шуквец. — Якименко хватается за якорь спасения своего начальственного лица. — Вот что. Я сегодня же отдам приказ о снятии вас с комиссионной работы. Займитесь санитарным оборудованием эшелонов. И имейте в виду, за каждую мелочь я буду взыскивать с вас лично. Никаких отговорок. Чтобы эшелоны были оборудованы на ять.

Эшелонов нельзя оборудовать не то что на ять, но даже и на ижицу по той простой причине, что оборудовать их нечем. Но Борис отвечает:

— Слушаю, гражданин начальник.

Из угла на меня смотрит изжеванное лицо Стародубцева, и на нем я читаю ясно:

— Ну, тут уж я окончательно ни хрена не понимаю.

В сущности, не очень много понимаю и я.

Вечером мы все вместе идем за обедом. Борис говорит:

— Да, а что ни говори, а с умным человеком приятно поговорить. Даже и с умной сволочью.

Уравнение с неизвестной причиной якименковского отступления мною уже решено. Стоя в очереди за обедом, я затеваю тренировочную игру: каждый из нас должен сформулировать про себя эту причину и потом эти определенные формулировки мы подвергаем совместному обсуждению.

Юра прерывает Бориса, уже готового предъявить свое решение.

— Постойте, ребята. Давайте, я подумаю. А потом вы мне скажете, верно или неверно.

После обеда Юра докладывает в тоне объяснения Шерлока Холмса доктору Ватсону.

— Что было бы, если бы Якименко арестовал Боба? Во-первых, врачей у них и так не хватает. Во-вторых, что сделал бы Ватик? Ватик мог бы сделать только одно, потому что ничего другого не оставалось бы — пойти в приемочную комиссию БАМа и заявить, что Якименко их систематически надувает, дает дохлую рабочую силу. Из бамовской комиссии кто-то поехал бы в Медгору и устроил бы там скандал... Верно?

— Почти, — говорит Борис. — Только бамовская комиссия заявила бы не в Медгору, а в Гулаг. По линии Гулага Якименко влетело бы за зряшные расходы по перевозке трупов, а по линии ББК за то, что не хватило ловкости рук. А если бы не было тут тебя с Ватиком, Якименко слопал бы меня и даже не поперхнулся бы.

Таково было и мое объяснение. Но мне все-таки кажется, и до сих пор, что с Якименко дело обстояло не так просто.

И в тот же вечер из соседней комнаты раздается голос Якименко:

— Солоневич Юрий, подите-ка сюда!

Юра встает из-за машинки. Мы с ним обмениваемся беспокойными взглядами.

— Это вы писали этот список?

— Я.

Мне становится не по себе. Это наши подложные списки.

— А позвольте вас спросить, откуда вы взяли эту фамилию, как ее тут... Абдурахманов. Такой фамилии в карточках нет.

Моя душа медленно сползает в пятки.

— Не знаю, товарищ Якименко. Путаница, вероятно, какая-нибудь.

— Путаница! В голове у вас путаница.

— Ну конечно, — с полной готовностью соглашается Юра. — И в голове тоже.

Молчание. Я, затаив дыхание, вслушиваюсь в малейший звук.

— Путаница. Вот посажу я вас на неделю в ШИЗО.

— Так я там, по крайней мере, отосплюсь, товарищ Якименко.

— Немедленно переписать эти списки! Стародубцев! Все списки проверять! Под каждым списком ставить подпись проверяющего! Поняли?

Юра выходит из кабинета Якименко бледный. Его пальцы не попадают на клавиши машинки. Я чувствую, что руки дрожат и у меня. Но как будто пронесло. Интересно, когда наступит тот момент, когда не пронесет?

Наши комбинации лопнули автоматически. Они, впрочем, лопнули и без вмешательства Якименко: не спать совсем было все-таки невозможно. Но что знал или о чем догадывался Якименко?

ИЗМОР

Я принес на Погру списки очередного эшелона и шатаюсь по лагпункту. Стоит лютый мороз, но после урчевской коптильни так хорошо проветрить легкие!

Лагпункт неузнаваем. Уже давно никого не шлют и не выпускают в лес из-за боязни, что люди разбегутся. Хотя бежать некуда. И на лагпункте дров нет. Все то, что с такими трудами, с такими жертвами и с такой спешкой строилось три месяца тому назад, все идет в трубу, в печку. Ломают на топливо бараки, склады, кухни. Занесенный снегом кучей металла лежит кем-то взорванный мощный дизель, привезенный сюда для стройки плотины. Валяются изогнутые буровые трубы. Все это импортное, валютное. У того барака, где некогда процветали под дождем мы трое, стоит плотная толпа заключенных, человек четыреста. Она окружена цепью стрелков ГПУ. Стрелки стоят в некотором отдалении, держа винтовки по уставу под мышкой. Кроме винтовок, стоят на треножниках два легких пулемета. Перед толпой заключенных — столик, за которым местное начальство.

Кто-то из начальства равнодушно выкликает:

— Иванов! Есть?

Толпа молчит.

— Петров?

Толпа молчит.

Эта операция носит техническое название измора. Люди на лагпункте перепутались, люди растеряли или побросали свои рабочие карточки — единственный документ, удостоверяющий личность лагерника. И вот, когда в колонне вызывают на БАМ какого-нибудь Иванова 25-го, то этот Иванов предпочитает не откликаться.

Всю колонну выгоняют из барака на мороз, оцепляют стрелками и начинают вызывать. Колонна отмалчивается. Меняется начальство, сменяются стрелки, а колонну все держат на морозе. Понемногу один за другим молчальники начинают сдаваться, раньше всего рабочие и интеллигенция, потом крестьяне и, наконец, урки. Но урки часто не сдаются до конца: валится на снег — и, замерзшего, его относят или в амбулаторию, или в яму, исполняющую назначение общей могилы. В общем, совершенно безнадежная система сопротивления. Вот в толпе уже свалилось несколько человек. Их подберут не сразу, чтобы не симулировали. Говорят, что одна из землекопных бригад поставила рекорд — выдержала двое суток такого измора, и из нее откликнулось не больше половины. Но другая половина — не много от нее осталось...

ВСТРЕЧА

В лагерном тупичке стоит почти готовый к отправке эшелон. Территория этого тупичка оплетена колючей проволокой и охраняется патрулями. Но у меня пропуск, и я прохожу к вагонам. Некоторые вагоны уже заняты, из других будущие пассажиры вычищают снег, опилки, куски каменного угля, заколачивают щели, настилают нары, словом, идет строительство социализма. Вдруг где-то сзади меня раздается зычный голос:

— Иван Лукьянович, алло! Товарищ Солоневич!

Человек с рыжей бородой подбегает ко мне и с энтузиазмом трясет мне руку. Пальцы у него железные.

— Здравствуйте, Иван Лукьянович. Знаете, очень рад вас видеть. Конечно, это, я понимаю, свинство с моей стороны высказывать радость, увидев старого приятеля в таком месте. Но человек слаб. Почему я должен нарушать гармонию общего равенства и лезть в сверхчеловеки?

Я всматриваюсь. Ничего не понять. Рыжая борода, веселые, забубенные глаза, общий вид человека, ни в коем случае не унывающего.

— Послушайте, — говорит человек с негодованием. — Неужели не узнаете? Неужели вы возвысились до таких административных высот, что для вас простые лагерники, вроде Гендельмана, не существуют?

Точно кто-то провел мокрой губкой по лицу рыжего человека и сразу смыл бороденку, усищи, снял бушлат, и подо всем этим очутился Зиновий Яковлевич Гендельман таким, каким я его знал по Москве — весь сотканный из мускулов, бодрости и зубоскальства. Конечно, это тоже свинство, но встретить Зиновия Яковлевича мне было очень радостно. Так стоим мы и тискаем друг другу руки.

— Значит, если, наконец, — неунывающим тоном умозаключает Гендельман. — Я

ведь вам предсказывал. Правда, и вы мне предсказывали. Какие мы с вами проницательные! И как это у нас обоих не хватило проницательности, чтобы не сесть? Не правда ли, удивительно? Но нужно иметь силы подняться над нашими личными, мелкими, мещанскими переживаниями. Если наши вожди, лучшие из лучших, железная гвардия ленинизма, величайшая надежда будущего человечества, — если эти вожди садятся в ГПУ, как мухи на мед, так что же мы должны сказать? А? Мы должны сказать: добро пожаловать, товарищи!

— Слушайте, — перебиваю я. — Публика кругом.

— Это ничего. Свои ребята. Наша бригада —. все уральские мужички, ребята, как гвозди. Замечательные ребята. Итак, по каким статьям существующего и несуществующего закона попали вы сюда?

Я рассказываю. Забубенный блеск исчезает из глаз Гендельмана.

— Да, вот это плохо. Это уж не повезло. — Гендельман оглядывается кругом и переходит на немецкий язык: — Вы ведь все равно сбежите?

— До сих пор мы считали это само собою разумеющимся. Но вот теперь эта история с отправкой сына. А ну-ка, Зиновий Яковлевич, мобилизуйте вашу "юдиши-копф" и что-нибудь изобретите.

Гендельман запускает пальцы в бороду и осматривает вагоны, проволоку, сльник, снег, как будто отыскивая там какое-то решение.

— А попробовали бы вы подъехать к бамовской комиссии.

— Думал и об этом. Безнадежно.

— Может быть, не совсем. Видите ли, председателем этой комиссии торчит некто Чекалин. Я его знаю по Вишерскому лагерю. Во-первых, он коммунист с дореволюционным стажем, и во-вторых, человек он очень неглупый. Неглупый коммунист и с таким стажем, если он до сих пор не сделал карьеры, — а разве это карьера? — это значит, что он человек лично порядочный и что в качестве порядочного человека он рано или поздно сядет. Он, конечно, понимает это и сам. Словом, тут есть кое-какие психологические возможности.

Идея довольно неожиданная. Но какие тут могут быть психологические возможности, в этом сумасшедшем доме? Чекалин — колючий, нервный, судорожный, замотанный, полусумасшедший от вечной грызни с Якименко.

— А то попробуйте увязаться с нами. Наш эшелон пойдет, вероятно, завтра. Или, на крайний случай, пристройте вашего сына сюда. Тут он у нас не пропадет. Я посылки получал. Еда у меня на дорогу более или менее есть. А? Подумайте.

Я крепко пожал Гендельману руку, но его предложение меня не устраивало.

— Ну, а теперь докладывайте вы!

Гендельман был по образованию инженером, а по профессии — инструктором спорта. Это довольно обычное в советской России явление. У инженера несколько больше денег, огромная ответственность (конечно, перед ГПУ) по линии вредительства, бесхозяйственности, невыполнения директив и планов и по многим другим линиям, и, конечно, никакого житья. У инструктора физкультуры денег иногда меньше, а иногда и больше, столкновений с ГПУ почти никаких, и в результате всего этого возможность вести приблизительно человеческий образ жизни. Кроме того, можно потихоньку и сдельно подхалтуривать и по своей основной специальности. Гендельман был блестящим спортсменом и редким организатором. Однако и физкультурный иммунитет против ГПУ — вещь весьма относительная. В связи с той политизацией физкультуры, о которой я рассказывал выше, около пятисот инструкторов спорта было арестовано и разослано по всяким нехорошим и весьма неудобоусвояемым местам. Был арестован и Гендельман.

— Да и докладывать, в сущности, нечего. Сцапали. Привезли на Лубянку. Посадили. Сижу. Через три месяца вызывают на допрос. Ну, конечно, они уже все решительно знают. Что я старый сокольский деятель. Что я у себя на работе устраивал старых соколов. Что я находился в переписке с международным сокольским центром. Что я даже посылал приветственную телеграмму всесокольскому слету. А я все сижу и слушаю. Потом я говорю: "Ну вот вы, товарищи, все знаете". — "Конечно, знаем". — "Позвольте

мне спросить, почему же вы не знаете, что евреи в "Сокол" не принимаются?"

— Знаете, что мне следователь ответил? — "Ах, говорит, не все ли вам равно, гражданин Гендельман, за что вам сидеть — за "Сокол" или не за "Сокол"? — "Какое гениальное прозрение в глубины человеческого сердца! Представьте себе! Мне, оказывается, решительно все равно, за что сидеть, раз я уже все равно сижу".

— Почему же я работаю плотником? А зачем мне работать не плотником? Во-первых, я зарабатываю себе настоящие мозолистые, пролетарские руки. Знаете, как в песенке поется:

"... В заводском гуле он ласкал
Ее мозолистые груди..."

Во-вторых, я здоров: посылки мне присылают. А уж лучше тесать бревна, чем зарабатывать себе геморрой. В-третьих, я имею дело не с советским активом, а с порядочными людьми — с крестьянством. Я раньше побаивался, думал — антисемитизм. У них столько же антисемитизма, как у вас коммунистической идеологии. Это честные люди и хорошие товарищи, а не какая-нибудь советская сволочь. Три года я уже отсидел. Еще два осталось... Заявление о смягчении участи? — Тут голос Гендельмана стал суров и серьезен:

— Ну, от вас я такого совета, Иван Лукьянович, не ожидал. Эти бандиты меня без всякой вины, абсолютно без всякой вины посадили на каторгу, оторвали меня от жены и ребенка — сму было только две недели, — и чтобы я перед ними унижался, чтобы я у них что-то вымаливал!.

Забубенные глаза Гендельмана смотрели на меня негодующе.

— Нет, Иван Лукьянович, этот номер не пройдет. Я, даст Бог, отсижу и выйду. А там — там мы посмотрим. Вы только на этих мужичков посмотрите. Какая это сила!

Вечерело. Патрули проходили мимо эшелонов, загоняя лагерников в вагоны. Пришлось попрощаться с Гендельманом.

— Ну, передайте Борису и вашему сыну, я его так и не видал, мой, так сказать, спортивный привет! Не унывайте! А насчет Чекалина все-таки подумайте.

СРЫВ

Я пытался прорваться на Погру на следующий день, еще раз отвести душу с Гендельманом, но не удалось. Вечером Юра мне сообщил, что Якименко с утра уехал на два-три дня на Медвежью Гору и что в какой-то дополнительный список на ближайший этап урчевский актив ухитрился включить и его, Юру; что список уже подписан начальником отделения Ильиных и что сегодня вечером за Юрой придет вооруженный конвой, чего для отдельных лагерников не делалось никогда. Вся эта информация была сообщена Юре чекистом из третьего отдела, которому Юра в свое время писал стихами письма к его возлюбленной: поэтические настроения бывают и у чекистов.

Мой пропуск на Погру был действителен до 12 часов ночи. Я вручил его Юре, и он, забрав свои вещи, исчез на Погру с наставлением "действовать по обстоятельствам"; в том же случае, если скрыться совсем будет нельзя, разыскать вагон Гендельмана.

Но эшелон Гендельмана уже ушел. Борис запрятал Юру в покойницкую при больнице, где он и просидел двое суток. Актив искал его по всему лагерю. О переживаниях этих двух дней рассказывать было бы слишком тяжело.

Через два дня приехал Якименко. Я сказал ему, что вопреки его прямой директиве Стародубцев обходным путем включил Юру в список, что, в частности, ввиду этого сорвалась подготовка очередного эшелона (одна машинка оставалась безработной) и что Юра пока скрывается за пределами досягаемости актива.

Якименко посмотрел на меня мрачно и сказал:

— Позовите мне Стародубцева.

Я позвал Стародубцева. Минут через пять Стародубцев вышел от Якименко в состоянии, близком к истерии. Он что-то хотел сказать мне, но величайшая ненависть сдавила ему

горло. Он только ткнул пальцем в дверь якименковского кабинета. Я вошел туда.

— Ваш сын сейчас на БАМ не едет. Пусть он возвращается на работу. Но с последним эшелоном поехать ему, вероятно, придется.

Я сказал:

— Товарищ Якименко, но ведь вы мне обещали.

— Ну и что же, что обещал. Подумаешь, какое сокровище ваш Юра.

— Для... для меня сокровище... — я почувствовал спазмы в горле и вышел.

Стародубцев, который, видимо, подслушивал под дверью, отскочил от нее к стенке, и все его добрые чувства ко мне выразились в одном слове, в котором было... многое в нем было:

— Сокровище, гы-ы...

Я схватил Стародубцева за горло. Из актива с места не двинулся никто. Стародубцев судорожно схватил мою руку и почти повис на ней. Когда я разжал руку, Стародубцев мешком опустился на пол. Актив молчал.

Я понял, что еще одна такая неделя, и я сойду с ума.

Я ТОРГУЮ ЖИВЫМ ТОВАРОМ

Эшелоны все шли, а наше положение все ухудшалось. Силы таяли. Угроза Юре росла. На обещания Якименко после всех этих инцидентов рассчитывать совсем было нельзя. Борис настаивал на немедленном побеге. Я этого побега боялся, как огня. Это было бы самоубийством, но помимо такого самоубийства ничего другого видно не было.

Я уже не спал в те короткие часы, которые у меня оставались от урчевской каторги. Один за другими возникали и отбрасывались планы. Мне все казалось, что где-то вот совсем рядом, под рукой, есть какой-то выход, идиотски простой, явственно очевидный, а я вот не вижу его; хожу вокруг да около, тыкаюсь во всякую майнридовщину, а того, что надо, не вижу. И вот в одну из таких бессонных ночей меня, наконец, осенило. Я вспомнил о совете Гендельмана, о председателе приемочной комиссии БАМа чекисте Чекалине и понял, что этот чекист — единственный способ спасения и притом способ совершенно реальный.

Всяческими пинкертоновскими ухищрениями узнал его адрес. Чекалин жил на краю села в карельской избе. Поздно вечером, воровато пробираясь по сугробам снега, я подошел к этой избе. Хозяйка избы на мой стук подошла к двери, но открывать не хотела. Через минуту-две к двери подошел Чекалин.

— Кто это?

Дверь открылась на десять сантиметров. Из щели прямо мне в живот смотрел ствол парабеллума. Электрический фонарик осветил меня.

— Вы заключенный?

— Да.

— Что вам нужно? — голос Чекалина был резок и подозрителен.

— Гражданин начальник, у меня к вам очень серьезный разговор и на очень серьезную тему.

— Ну, говорите.

— Гражданин начальник, этот разговор я через щель двери вести не могу.

Луч фонарика уперся мне в лицо. Я стоял, щурясь от света, и думал о том, что малейшая оплошность может стоить мне жизни.

— Оружие есть?

— Нет.

— Выверните карманы.

Я вывернул карманы.

— Войдите.

Я вошел.

Чекалин взял фонарик в зубы и, не выпуская парабеллума, свободной рукой ощупал меня всего. Видна была большая сноровка.

— Проходите вперед.

Я сделал два-три шага вперед и остановился в нерешительности.

— Направо... Наверх... Налево, — командовал Чекалин. Совсем, как в коридорах ГПУ. Да, сноровка видна.

Мы вошли в убого обставленную комнату. Посередине комнаты стоял некрашеный деревянный стол. Чекалин обошел его кругом и, не опуская парабеллума, тем же резким тоном спросил:

— Ну-с, так что же вам угодно?

Начало разговора было малообещающим, а от него столько зависело!.

Я постарался собрать все свои силы.

— Гражданин начальник, последние эшелоны составляются из людей, которые до БАМа заведомо не доедут.

У меня запнулось дыхание.

— Ну?

— Вам, как приемщику рабочей силы, нет никакого смысла нагружать вагоны полутрупами и выбрасывать в дороге трупы.

— Да?

— Я хочу предложить давать вам списки больных, которых ББК сажает в эшелоны под видом здоровых. В нашей комиссии есть один врач. Он, конечно, не в состоянии проверить всех этапников, но он может проверить людей по моим спискам.

— Вы по каким статьям сидите?

— Пятьдесят восемь-шесть, десять и одиннадцать; пятьдесят девять-десять.

— Срок?

— Восемь лет.

— Так... Вы по каким, собственно, мотивам действуете?

— По многим мотивам. В частности, и потому, что на БАМ придется, может быть, ехать и моему сыну.

— Это тот, что рядом с вами работает?

— Да.

Чекалин уставился на меня пронизывающим, но ничего не говорящим взглядом. Я чувствовал, что от нервного напряжения у меня начинает пересыхать во рту.

— Так... — сказал он раздумчиво. Потом, отвернувшись немного в сторону, опустил предохранитель своего парабеллума и положил оружие в кобуру.

— Так, — повторил он, как бы что-то соображая. — А скажите, вот эту путаницу с заменой фамилий — это вы устроили?

— Мы.

— А это по каким мотивам?

— Я думаю, что даже революции лучше обойтись без тех издержек, которые уж совсем бессмысленны.

Чекалина как-то передернуло.

— Так, — сказал он саркастически. — А когда миллионы трудящихся гибли на фронтах бессмысленной империалистической бойни, вы действовали по той же... просвещенной линии?

Вопрос был поставлен в лоб.

Чекалин помолчал.

— Ваше предложение для меня приемлемо. Но если вы воспользуетесь этим для каких-нибудь посторонних целей, протекции или чего еще — вам пощады не будет.

— Мое положение настолько безвыходно, что вопрос о пощаде меня мало интересует. Меня интересует вопрос о сыне.

— А за что он попал?

— По существу, за компанию. Связи с иностранцами.

— Как вы предполагаете технически провести эту комбинацию?

— К отправке каждого эшелона я буду давать вам списки больных, которые ББК дает вам под видом здоровых. Этих списков я вам приносить не могу. Я буду засовывать их в уборную УРЧ, в щель между бревнами, над притолокой двери, прямо посередине ее. Вы бываете в УРЧ и можете эти списки забирать.

— Так. Подходяще. И скажите, в этих подлогах с ведомостями ваш сын тоже принимал участие?

— Да. В сущности, это его идея.

— И из тех же соображений?

— Да.

— И отдавая себе отчет...

— Отдавая себе совершенно ясный отчет.

Лицо и голос Чекалина стали немного меньше деревянными.

— Скажите, вы не считаете, что ГПУ вас безвинно посадило?

— С точки зрения ГПУ — нет.

— А с какой точки зрения — да?

— Кроме точки зрения ГПУ, есть еще и некоторые другие точки зрения. Я не думаю, чтобы был смысл входить в их обсуждение.

— И напрасно вы думаете. Глупо думаете. Из-за Якименко, Стародубцева и прочей сволочи революция и платит эти, как вы говорите, бессмысленные издержки. И это потому, что вы и иже с вами с революцией идти не захотели. Почему вы не пошли?

— Стародубцев имеет передо мною то преимущество, что он выполнит всякое приказание. А я всякое не выполню.

— Белые перчатки?

— Может быть.

— Ну, вот и миритесь с Якименко.

— Вы, кажется, о нем не особо высокого мнения.

— Якименко карьерист и прохвост, — коротко отрезал Чекалин. — Он думает, что он сделает карьеру.

— По всей вероятности, сделает.

— Поскольку от меня зависит, сомневаюсь. А от меня зависит. Об этих эшелонах будет знать и Гулаг. Штабели трупов по дороге Гулагу не нужны.

Я подумал о том, что штабели трупов до сих пор Гулагу не мешали.

— Якименко карьеры не сделает, — продолжал Чекалин. — Сволочи у нас и без него достаточно. Ну, это вас не касается.

— Касается самым тесным образом. И именно меня и нас.

Чекалина опять передернуло.

— Ну, давайте ближе к делу. Эшелон идет через три дня. Можете вы мне на послезавтра дать первый список?

— Могу.

— Так, значит, я найду его послезавтра, к десяти часам вечера, в уборной УРЧ, в щели над дверью?

— Да.

— Хорошо. Если вы будете действовать честно, если вы этими списками не воспользуетесь для каких-нибудь комбинаций, я ручаюсь вам, что ваш сын на БАМ не поедет. Категорически гарантирую. А почему бы, собственно, не поехать на БАМ и вам?

— Статьи не пускают.

— Это ерунда.

— И потом, вы знаете, на увеселительную прогулку это не очень похоже.

— Ерунда. Но в теплушке же бы вы поехали, раз я вас приглашаю.

Я в изумлении воззрился на Чекалина и не знал, что мне и отвечать.

— Нам нужны культурные силы, — сказал Чекалин, делая ударения на "культурные". — И мы умеем их ценить. Не то, что БАМ.

В пафосе Чекалина мне слышались чисто ведомственные нотки. Я хотел спросить, чем, собственно, я обязан чести такого приглашения, но Чекалин прервал меня:

— Ну, мы с вами еще поговорим. Так, значит, списки я послезавтра там найду. Ну, пока. Подумайте о моем предложении.

Когда я вышел на улицу, мне, говоря откровенно, хотелось слегка приплясывать. Но, умудренный опытами всякого рода, я предпочел подвергнуть всю эту ситуацию, так

сказать, "марксистскому анализу". Марксистский анализ дал вполне благоприятные результаты. Чекалину, конечно, я оказывал весьма существенную услугу; не потому, что кто-то его стал бы потом попрекать штабелями трупов по дороге, а потому, что он был бы обвинен в ротозействе. Всучили ему, дескать, гнилой товар, а он и не заметил. С точки зрения советских работорговцев, да и не только советских, этот промах весьма предосудительный.

СНОВА ПЕРЕДЫШКА

Общее собрание фамилии Солоневичей ("трех мушкетеров", как нас называли в лагере) подтвердило мои соображения о том, что Чекалин не подведет. Помимо всяких психологических расчетов был и еще один. Связью со мною, с заключенным, использованием заключенного для шпионажа против лагерной администрации Чекалин ставит себя в довольно сомнительное положение. Если Чекалин подведет, то перед этаким "подводом", вероятно, подумает о том, что я могу пойти на самые отчаянные комбинации; ведь вот пошел же я к нему с этими списками. А о том, чтобы иметь в руках доказательства этой преступной связи, я уж позабочусь; впоследствии я об этом и позаботился. Поставленный в безвыходное положение, я эти доказательства предъявлю третьей части, Чекалин же находится на территории ББК. Словом, идя на все это, Чекалин уж должен был держаться до конца.

Все в мире весьма относительно. Стоило развеяться очередной угрозе, нависавшей над нашими головами, и жизнь снова начинала казаться легкой и преисполненной надежд, несмотря на всю каторжную работу в УРЧ, несмотря на то, что помимо этой работы чекалинские списки отымали у нас последние часы сна.

Впрочем, списки эти Юра сразу весьма усовершенствовал; мы писали не фамилии, а только указывали номер ведомости и порядковый номер, под которым в данной ведомости стояла фамилия данного заключенного. Наши списки стали срывать эшелоны. Якименко рвал и метал, но каждый сорванный эшелон давал нам некоторую передышку: пока подбирали очередные документы, мы могли отоспаться. В довершение ко всему этому Якименко преподнес мне довольно неожиданный, хотя сейчас уже и ненужный сюрприз. Я сидел за машинкой и барабанил. Якименко был в соседней комнате.

Слышу негромкий голос Якименко:

— Товарищ Твердун, переложите документы Солоневича Юрия на Медгору, он на БАМ не поедет.

Вечером того же дня я улучил минуту и как-то неловко и путанно поблагодарил Якименко. Он поднял голову от бумаг, посмотрел на меня каким-то странным, вопросительно-ироническим взглядом и сказал:

— Не стоит, товарищ Солоневич.

И опять уткнулся в бумаги.

Так и не узнал я, какую, собственно, линию вел товарищ Якименко.

Петр Краснов

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ*

А странно? Мацнев показал вчера несколько масонских свидетельств. Герб, треугольник, углом вниз и надпись большими четкими буквами: "Libertas, aegalitas, fraternitas"** — те же лозунги, что у социалистов. Внизу буквы, означающие фразу. Не от них ли пошло это обыкновение в армии говорить языком телеграфного кода, противным, поганым языком, уничтожающим самые громкие имена? Верховный Главнокомандующий — Главковерх... Главковерх, император Николай II!.. Гадко!

Липкий трепет пробежал по жилам Саблина. Из темного угла вагона как будто показалось страшное лицо человека с головою козла, с длинными рогами, с факелом на голове. Он сидел, поджав ноги, и мутный взгляд был устремлен на Саблина. Это Бафомет — демон, изображение которого долго рассматривал вчера Саблин.

Но ведь это же ерунда, это чепуха! Так придется поверить в чертей, в ад, в котлы с грешниками, придется бояться трех свечек на столе, бояться снов, верить в пятницу...

Евреи и масонство?.. "Лучшего из гоев убей"... "лучшей из змей раздроби мозг"... "справедливейшего из безбожников лиши жизни"...

Если я хочу властвовать, я должен уничтожить у подчиненных мне народов все сильное, одаренное, образованное, все лучшее, способное к протесту! Чтобы одно быдло осталось и само полезло в ярмо!

Кровавым полымем пылает Русская земля. В Выборге, Свеаборге и Гельсингфорсе, в Кронштадте и Севастополе избивают генералов и офицеров, и на всем фронте не прекращается страшная Варфоломеевская ночь. Солдат сводит старые счеты с офицерами и истребляет их, но приказ этому истреблению идет из дворца Кшесинской, от Ленина.

Ленину это нужно? Упившись кровью, он сядет наверх и станет упорно проводить в жизнь ту утопическую сказку, что выносил в себе долгие годы эмигрантской жизни?..

Ленин один виноват во всем, и весь грех и все преступление на нем!

Сейчас же, с гадкой ухмылочкой, встало бледное прыщавое лицо с растопыренными ушами Керенского, и послышались странные речи, слышанные вчера на Троицкой площади:

— Жиды те же люди! Почитай, еще получше русских будут.

Говорили русские люди. Откуда взялось такое внезапное уважение к жидам? Его не было раньше.

Вчера Мацнев длинно и несвязно, видимо, сам не веря, не зная точно, не уяснив предмета, о котором говорил, рассказывал о громадном консорциуме банков. По словам Мацнева выходило, что борьба идет не против капитала, но за капитал. В рассказе Мацнева мелькали и имена американских, французских и немецких мильярдеров. Они устроили войну и революцию. Все это были интернациональные евреи, решившие весь мир прибрать к своим рукам. Вместо королей и императоров во главе государств появлялись банкиры и спекулянты, и народы сгорали в погоне за золотом.

А дальше?

И опять из темного угла отделения вагона высовывалась противная козлиная рожа, показывались белые руки, скалила зубы рогатая морда, и желтые глаза смотрели тупо и бесстрастно.

Проносилась вся странная символистика масонства: передники, молоты, циркули, звезды, треугольники, изломанные кресты, и в самом простом предмете Мацнев видел странную эмблему, казавшуюся Саблину ненужной.

Мацнев показал ему новую тысячерублевку Временного правительства и на ней, как орнамент, — крест с изломанными концами.

Нарочно или случайно? Кому понадобился этот орнамент, почему именно этот, являющийся у масонов определенным символом поражения христианства?

Вспомнил Саблин и кинематограф, виденный им год тому назад, и невольно подумал, что если Нилус и сочинил свои "Сионские протоколы", то он их разумно сочинил, ибо предвидел многое.

Масоны и евреи...

Вся пресса была уже в руках у евреев, и отдельные русские газеты дружно всеми преследовались. Саблину на фронте присылали "Русское

---

* *Продолжение. Начало* в № 4—7.

** Свобода, равенство, братство (лат.)

знамя". Саблин просматривал его. Газета велась хорошо, талантливо, много в ней было правды, но ее не читали. Зачитывались "Киевскою мыслью". Саблин выписывал "Киевлянина". "Киевлянина" не читали. Это было в 1915, 1916 годах, до революции. Кто-то работал тайно, но упорно, и кто-то уже побеждал.

Дьявол?

Тридцать три степени в масонстве. Обряды, ритуал, страшные клятвы. Надо во исполнение приказа убить образно кинжалом человека, надо быть готовым на самоубийство. Воля ученика отдается мастеру, воля мастера — розенкрейцеру... А дальше страшные "шевалье кадош", имеющие право казнить королей. Страшные обряды, страшные эмблемы. Молот и циркуль как будто говорят о строительстве, но эмблемы посвящения — гробы с костями, символы убийства и самоубийства — готовят к разрушению.

Мрачными подвалами средневековья несет от имен: "великий инспектор — инквизитор — командор", "суверен", "невидимые степени посвящения", "Алит", "Alliance Israelite Universelle"*, "совет семи" и "некоронованный еврейский царь".

Бутафорией скверного балагана веяло от всего этого, но было и нечто страшное. Тайна скрывалась и манила слабых. Слышался визгливый смех Верцинского, и жутко становилось от неразгаданности того, о чем все говорят и чего никто не знает.

Саблин перебрал сотни людей, с кем он был знаком, и искал хотя бы одного масона между ними. Не может быть, чтобы он никого не встретил, чтобы никогда за тридцать лет сознательной жизни не говорил о масонстве. Нет, никого не встретил и никогда не говорил. Точно р а н ь ш е масонов не было, но появились они только т е п е р ь , будто и правда, как говорил Мацнев, их надо было придумать, чтобы оправдать свою глупость, трусость и подлость. Когда свершилась революция и оказалась ужасным жестоким бунтом, когда полетела в страшную бездну Россия, понадобилась вся сложная легенда о масонах, чтобы в них найти оправдание.

Да, это так, ибо иначе быть не может. Не погибнет же Россия, не обратится в пустыню русская земля! Явится русский вождь, Русский именем, духом и верою, и осенит себя крестным знамением русский народ, и отшатнется от сатаны и всего дьявольского наваждения, и опять станет светлое счастье на Руси, и Христос воскресе, и целование братское, и красное яичко, и весна красна!.. Не может быть, чтобы кровь и вечное убийство человек предпочел ликующему счастью творчества.

Избавитель идет. Народный герой, народный избранник — Корнилов.

Саблин приехал в Ставку рано утром. От вокзала до штаба ежедневно в десять часов утра ходил автомобиль для отвоза приезжающих по службе в Ставку.

В Могилеве Саблин нашел приподнятое настроение. Был теплый солнечный день. Сильный ветер носил тучи пыли, шумел в листве высоких пирамидальных тополей и гонял бумажки по улице. В ожидании приема Главнокомандующим Саблин пошел пешком к своему знакомому, генералу Самойлову. Чувствовалось, что город переполнен войсками. В каждом доме, в каждой квартире были солдаты и офицеры. Большинство толпилось без всякого дела у ворот и лущило семечки, но в Ставке солдаты имели более подтянутый вид, и многие еще с подчеркнутой старательностью отдавали Саблину честь. Здесь Саблин в первый раз увидал Корниловские ударные батальоны. Это была ужасная идея: выбрать все лучшее и свести в отдельные части. Масса лишилась опоры, лишилась своего скелета и развалилась, а скелет был без мускулов и потому без силы.

Саблин часто встречал бравых солдат и унтер-офицеров, большинство с Георгиевскими крестами, хорошо одетых, отлично выправленных, с сухощавыми осмысленными лицами. На рукаве у них был нашит голубой полотняный щит, где белой масляной краской аляповато была нарисована Адамова голова и написано "Корниловец".

Тяжелое впечатление жалкой бутафории произвели эти нарукавные знаки на Саблина. Они показывали бессилие вождя. Конвой, опора вождя, его ударная часть должна быть одета богато, с эмблемами победы, а не смерти. Так было всегда. Так учила нас военная история.

На дивных текинских лошадях, в нарядных халатах, с громадными чалмами на головах проехал взвод текинцев, и Саблин невольно залюбовался ими. Холодными, презрительными глазами смотрели они на толпящихся у домов солдат.

Самойлов жил в комнате, реквизированной у обывателей. В большой, по провинциальному обставленной гостиной, между роялем и диванчиком с трельяжем, с искусственным виноградом, стояла постель, тут же стол с разбросанными бумагами, картами и со стаканом недопитого чая, где плавали мухи. Папиросные окурки валялись повсюду — в горшках с цветами, на полке камина, на полу, в умывальном тазу с грязной водой, стоявшем на золоченом стулике. Неряшливость обитателя, военная распущенность, которую к концу войны приобрели многие офицеры, привычка смотреть на чужое имущество, как на мусор, обслуживание грязным, ленивым и нерадивым денщиком сказывались во всем.

Было десять часов утра. Самойлов, еще не одетый, в одних штанах и рубашке, что-то поспешно писал на телеграфном бланке. Узнав, что к нему пришли, он приказал просить.

— Извините, Александр Николаевич, за беспорядок. По теперь живешь по-свински. Зачем пожаловали? — сказал Самойлов, расчищая место, куда бы посадить гостя. Наконец, увидав, что на каждом стуле или кресле лежало что-нибудь,

*Всемирный еврейский союз (франц.).

он сел на неубранную всклокоченную постель, а Саблину пододвинул стул, на котором сидел.

— И вы, как бабочка на огонь, летите сюда, в нашу... в нашу... Вот и слова не найду.

— Я здесь проездом в отпуску и счел долгом представиться своему Верховному Главнокомандующему, которого после его выступления в Московском совещании я глубоко уважаю, — сдержанно сказал Саблин.

— Нашли время представляться, — сказал желчно Самойлов. — Да вы что же, ничего не знаете?

— То есть, что же я должен знать?

— Сейчас только, — сказал Самойлов, — Корнилов в широко опубликованном приказе объявил Керенского изменником, готовящим гибель России.

— Слава Богу!

— Погодите славославить. Керенский объявил в свою очередь Корнилова изменником, контрреволюционером, стремящимся к реакции и идущим против всех завоеваний революции. Оба кричат, что они демократы.

— Ну, и что же?

Самойлов внимательно, умными глазами посмотрел на Саблина.

— Вижу, что затуманились богатырские очи. Правильно, Александр Николаевич, понимать дело изволите. На чьей стороне правда?

— Ну, конечно, на стороне Корнилова.

— Правильно, ваше превосходительство. А сила? Толпа, масса вся за Керенского. К нему примкнули все те прохвосты и негодяи, которых иначе ожидает расстрел. А солдаты, продающие обмундирование на Александровском рынке, а почетный орден дезертиров, — все это за Керенского. Он адвокат всякой подлости, он укрыватель палачей, казнивших генералов и офицеров, он защитник немецких шпионов, и вся эта пакость за него.

— Но ведь все это разлетится от одного хорошего выстрела.

— Но кто будет стрелять? Корнилов, понимаете ли, младший, а по нашему генерально-штабному обычаю не принято раньше батьки в петлю лезть. В Пскове сидит Главкосев Клембовский — с кем он пойдет, а? На кого карту поставит? Пойдет с Корниловым и прогорит — расстрел!.. А? Какова комбинация? Не умоет ли он руки, не созовет ли совет, не забронируется ли комиссарами, сделав, как они прикажут? Там Войтинский и Станкевич — друзья Керенского, ярые сторонники углубления революции, там Бонч-Бруевич, — он товарищ мой, ловкий парень, из совета не выходит, там ваш друг Пестрецов, с которым и вы, и я на "ты". Этот определенно сказал: "Теперь сила за солдатами, и я с ними. Они — мой царь". Скажите, надежен Псков? Да, правда, в Петербурге есть какая-то офицерская организация, которая за Корнилова, но не очень-то я верю во все эти организации. Теперь, что же имеет Корнилов? Третий конный корпус Крымова, Туземную дивизию, которую спешно разворачивают в армию, и ударные батальоны. Начну с последних. Вы их видали?

— Видал. Зачем на них эту бутафорию нацепили?

— Не в бутафории, Александр Николаевич, дело, а в том, что и они ненадежны.

— В каком смысле?

— В прямом. Заявили через своих делегатов, что они со своими драться не будут. Надежны у нас только туркмены. Эти не выдадут. Но слушайте дальше, Корнилов объявляет: "Я сибирский казак и сын крестьянина" и так далее — демократический приказ. Хорошо это или нет?

— Не знаю, право?

— Вот то-то и оно-то. Сын крестьянина и сибирский казак, ведь это иными словами говоря — с в о й , значит и слушаться не надо. В случае чего — "долой", и крышка. Их втемяшить можно одним: "Союзники требуют немедленного восстановления фронта, грозят в противном случае высадить большие силы и перестрелять всех через десятого, а Керенского как изменника России требуют повесить". Это воздействовало бы. Воздействовало бы и появление "Божиею милостью, мы император и самодержец", а то — "сибирский казак и сын крестьянина".. Психология не учтена. Ведь как-никак шаг наполеоновский, ну, значит, и шагать нужно по-наполеоновски. Впереди всех — пушку к Смольному, и самому перед нею. Такое дело из кабинета не сделаешь. Ну, да посмотрим! Идете уже?

— Да, мне к одиннадцати назначено.

— Ну, идите!.. Идите!.

Саблин направился к дворцу

По дворцовой лестнице было движение людей, одни поднимались, другие спускались. Верховный Главнокомандующий был занят. Саблина просили подождать на площадке лестницы. К нему привязался офицер с искусственною ногою и забинтованною головою, полный инвалид и, видимо, ненормальный.

— Я, — говорил он, — сейчас с заседания союза инвалидов. Мы все единогласно постановили идти с Корниловым. Его дело — правое, святое дело. Он заступился за офицеров. Пора прекратить это безобразие.

Его вид, его слова смущали Саблина. "Плохо, — размышлял он, — дело Корнилова, если инвалидам приходится думать о его защите. Плохо государство, не заботящееся о своих инвалидах, где им приходится устраивать союзы. Последние времена настали. Плохо, если офицер противопоставляется солдату".

Дежурный адъютант выскочил на площадку и обратился к Саблину:

— Главнокомандующий Вас просит. Но только на одну минуту. Он провел Саблина в кабинет, где было два стола и несколько стульев. Начальник штаба встретил его.

— Главнокомандующий вышел, — сказал он

— Он сейчас вернется. Начальник штаба смотрел на Саблина и ничего не говорил, молчал и Саблин. Что мог он сказать — генерал без солдат, командир корпуса без корпуса.

Дверь быстро и широко распахнулась, и в нее решительными, твердыми, торопливыми шагами вошел небольшого роста крепкий человек. Он высоко нес маленькую сухую голову с черными волосами и черными небольшими усами. Из-под тонких бровей остро и пытливо смотрели маленькие, блестящие, косо поставленные глаза. В нем было благородство жестов и красота движений. Он протянул руку Саблину и быстро спросил его.

— С нами вы, генерал, или против нас?

— Я с теми, — твердо сказал Саблин, — кто желает добра и счастья России. Я с теми, кто спасает армию и ее честь. Я с вами, ваше превосходительство.

— Сама судьба посылает мне вас. Вы с обстановкою знакомы?

— Очень мало.

— Я приказал арестовать Временное правительство. Я беру бремя власти на себя для того, чтобы восстановить порядок. Конная армия Крымова двинута на Петроград. Я думаю, что Крымов уже в Петрограде. Поезжайте туда же. Вы мне будете там нужны.

— У нас, ваше превосходительство, — мягко заметил начальник штаба, — еще нет никаких данных считать, что Крымов в Петрограде. Не будет ли осторожнее направить генерала в Псков к Клембовскому, который очень нуждается в твердых людях?

Корнилов быстро посмотрел на начальника штаба.

— Вы правы, — сказал он. — Поезжайте в Псков. Явитесь там к Клембовскому и получите указания, что вам делать.

— Когда прикажете ехать? — наклоняя голову, сказал Саблин.

— Сейчас, — сказал Корнилов, пожимая ему руку и давая тем понять, что аудиенция его окончена.

— Поезд отходит в два часа, — сказал начальник штаба. — Я распоряжусь, чтобы в штабном вагоне вам было место.

В два часа дня Саблин в отдельном купе, один, поехал из Могилева. "Удастся ли дело Корнилова?", — думал он.

Саблин был очень хороший кавалерийский начальник. Три года войны, такие блестящие дела, как прорыв у Костюховки, научили его военному глазомеру. В уме он подсчитывал силы Корнилова, двинутые на Петроград. 1-я Донская казачья дивизия, Уссурийская конная дивизия, Кавказская туземная дивизия, Дагестанский и Осетинский конные полки, всего восемьдесят шесть эскадронов и сотен, или, считая круглом по сто человек в эскадроне, — 8 600 всадников. Немного против стотысячного гарнизона Петрограда с его матросами и революционными казаками. Но, зная настроение солдат запасных батальонов, Саблин рисовал себе, как туманным осенним утром двинутся одновременно вдоль Невы, по Шлиссельбургскому тракту Кавказская туземная дивизия, по Московскому тракту от Царского Села — Уссурийская дивизия и по Петергофскому тракту — донцы. Он видел растянутые на многие версты колонны с выкинутыми вперед лавами, он видел суматоху в гарнизоне ("выступать или нет"), он знал, что громадное большинство офицеров на стороне Корнилова. Потом он видел конные части, галопом скачущие по городу, аресты, револьверную стрельбу и Корнилова в украшенном русскими флагами автомобиле на площади у Зимнего дворца. "Должно удаться, — думал он — Должно..."

Скорый поезд шел поразительно точно. Он редко останавливался на станциях, постоит две-три минуты и идет дальше. Вагон мягко покачивался, клонило ко сну, и Саблин заснул.

Он проснулся в пять часов, когда еще было темно. Он смотрел на хмурый осенний пейзаж так знакомых ему по маневрам окрестностей Петербурга. Наступал рассвет. День обещал быть хорошим. На голубеющем небе угасали звезды. Лохматые облака, похожие на клубы пара, носились вверху. Были видны леса, ива с полуголыми ветвями трепетала на ветру. Болота набухли водой. Кривая березка росла по ним. У станции замаячили серые дачи с заколоченными окнами, клумбы с помятыми побуревшими георгинами и астрами. Валяется бумага. Картонка из-под большой дамской шляпы плавает в канаве под мостиком. Еще так недавно здесь жили дачники, шла тихая жизнь, ходили собирать грибы и ягоды, устраивали любительские спектакли, по вечерам играли в "тетку", читали газеты и ждали чуда от революции. Странно было думать, что по этим дорогам идут, а, может быть, уже прошли большие массы кавалерии, что тут будут уже не маневры, а война, с убитыми и ранеными.

Стало совсем светло. Солнце нежалкими осенними лучами осветило болота, леса и пустые поля, грязные канавы, огороды с черными кочерыжками, кучи картофеля, накрытые мокрыми рогожами, телеги, запряженные маленькими лохматыми лошадьми, и грязные глинистые с глубокими колеями дороги, уходящие куда-то в поля, к синеющему вдали лесу.

Поезд задержал свой бег. Застучали по стрелкам колеса, замотало их вправо и влево, и с обеих сторон показались красные товарные вагоны. Двери их были раскрыты и видны лошади, седла, кавказцы в своих рваных, живописно подоткнутых черкесках, в низких рыжих и серых папахах, в темно-малиновых, черных и белых башлыках; тут же видны были рослые драгуны с желтыми погонами, в хороших шинелях. На путях была утренняя мирная суета, бегали люди с чайниками, кружками и большими ломтями хлеба, носили воду в ведрах, поили лошадей, задавали им сено.

Саблин ничего не понимал. Корнилов считает их уже в Петербурге, а они, невыгруженные, стоят в вагонах и чего-то ждут в восьмидесяти верстах от своей цели.

Вся станция Дно была переполнена солдатами и офицерами. Одни спали на стульях, другие сидели за столом, пили чай, закусывали, спорили, курили. Тут же были частные пассажиры остановленного поезда, сидевшие на узлах и увязках с понурыми недовольными лицами. У Саблина в туземной дивизии было много знакомых, и они обступили его.

— Откуда?

— Из Ставки.

— Ну, что там? Каково настроение?

— Настроение хорошее, но там уверены, что вы, если не в Петрограде, то на самых подступах к нему.

— И не говорите. У Вырицы разобран путь. Там ингуши и черкесы ведут перестрелку с пехотой противника. Мы ждем, когда поправят путь.

— Вы ждете, — сказал Саблин. — Не мое, конечно, это дело, но я бы давно уже шел походом.

— Да видишь ты... Настроение, конечно, у туземцев отличное. Они своего князя ни за что не выдадут. Они его считают прямым потомком Магомета, так, понимаешь ли, это уже не шутки. Но у нас есть пулеметная команда и команда связи, они составлены из солдат. Они волнуются. Приморские драгуны отказываются идти дальше. Командир корпуса пошел их уговаривать. От Крымова нет никаких известий. Мы не знаем, где донцы.

— Кажется, под Лугой, — сказал кто-то.

— Теперь, приказ Керенского, объявляющий Корнилова изменником, черт его знает, каким образом, стал известен солдатам, ну и смутил умы.

— Неразбериха какая-то!

Эту неразбериху Саблин наблюдал всю ночь, пока тащились до Пскова. Поезд едва шел, останавливался подолгу на станциях, хрипло в сыром ночном воздухе свистел паровоз, уныло звонил звонок, трогались и опять стояли. На всех станциях были эшелоны, лошади, люди, седла в вагонах, горели фонари, и в темноте ночи видны были в рамке освещенного вагона кучки озабоченных хмурых людей, сидевших на тюках с сеном. Иногда у вагона стояла толпа, человек в двадцать, тридцать, и среди нее солдат или железнодорожный рабочий. Горячо обсуждали приказы Керенского и Корнилова.

— Товарищи, — слышал Саблин, проходя в темноте ночи к столпившимся около оратора солдатам. — Керенский прав. Он не хочет братоубийственной войны. Довольно крови лилось. Он стоит за истинную свободу, а Корнилов вас опять ведет под офицерскую палку. Опять чтобы над вами измывались господа, а вы тянулись перед ними и молчали.

В другом месте маленький еврей в солдатской шинели говорил среди толпы уссурийских казаков:

— Товарищи Керенский и Ленин стоят за одно. Они за мир. Это, товарищи, неправда, что Ленин немецкий шпион. Ленин великий борец за пролетариат и за рабочих и крестьян. Ему желательно вырвать бедных людей из-под власти капиталистов.

В третьем старый унтер-офицер с георгиевской колодкой во всю грудь говорил:

— Уже ли жида возьмем заместо такого героя, как Корнилов? Воевали, сражались с ним и умирали. Геройская была Русь, а не жидовская. Армии порядок нужен для победы, и Корнилов это понимает. Мы исполним свой долг перед родиной.

На все разнообразные речи казаки и солдаты молчали. Они тупо и упорно переваривали совершавшиеся перед ними события. Саблину становилось ясно, что это не французская восприимчивая толпа и Корнилов не Наполеон. Революция русская никак не желала укладываться во французские рамки и ложилась в привычные ей рамки кровавого, жестокого русского бунта, молчаливого, упорного и зверского.

Поздно ночью Саблин прибыл в Псков. На вокзале, переполненном солдатами, как в эти послереволюционные дни были переполнены все вокзалы, царили гомон и суета. Подле вокзала ни одного извозчика. Саблин прошел к коменданту, чтобы по телефону попросить автомобиль из армейского гаража. Растерянный, затравленный солдатами и офицерами, требовавшими кто ночлега, кто места на поезде, комендант смотрел на Саблина усталыми и ничего не понимающими глазами.

— Что прикажете, ваше превосходительство? — спросил он, глядя на Саблина, и вдруг радостно улыбнулся. Саблин узнал ротмистра Михайличенко, которого он награждал в селении Олеры вместе с Карповым. — Ваше превосходительство, помилуй Бог, какими судьбами!

— Узнали?

— Господи! Да как же не узнать-то! И не постарели нисколько. Чем могу служить?

— Мне надо проехать к генералу Клембовскому.

— Генерала Клембовского нет, ваше превосходительство. Он вчера уехал в Петроград. Фронтом, по приказу Керенского, командует генерал Бонч-Бруевич.

— По приказу Керенского? — спросил строго Саблин. — А Корнилов?

— Корнилов не то арестован, не то не знаем где. Сообщения со Ставкой нет. Туда проехал генерал Алексеев. Фактически фронтом распоряжаются комиссары и Совет солдатских и рабочих депутатов. Вчера на улице убили офицера за то, что он этот Совет назвал "советом рачьих и собачьих депутатов". Убийцы известны, но им ничего не сделано. Мы ожидаем каждую ночь резни офицеров.

— А Крымов?

— Крымов был в Луге, оттуда, по слухам, про-

ехал один, по вызову Керенского, в Петроград и там арестован. Ваше превосходительство, здесь находится генерал Пестрецов, наш бывший командующий армией, может быть, разрешите позвонить к нему, у него и заночуете, все-таки лучше. А то нигде квартиры нет.

— Хорошо, — сказал Саблин.

Он чувствовал себя усталым. Три ночи, проведенные в вагоне, сказывались. Надо было разобраться во всем этом хаосе сведений и принять решение.

Несмотря на поздний час (было два часа ночи), Пестрецов не спал. Саблин разыскал его в большом казенном доме, на берегу реки Великой, где у Пестрецова была реквизированная квартира. Он жил с женою.

— А, Саша! Здравствуй. Ночлег имеешь? — приветствовал его Пестрецов. — Нет? Оставайся у меня. Рассказывай, каким ветром сюда занесло. Да постой, Нина нам ужин смастерит. Она еще не ложилась.

За ужином, кроме Нины Николаевны и Пестрецова, был скромный молодой человек в солдатской рубахе. Пестрецов представил его как помощника комиссара.

После ужина Пестрецов устроил Саблина в своем кабинете. Комната рядом наполнена была вооруженными солдатами.

— Это что? — спросил Саблин у Пестрецова.

— Караул, — шепотом сказал Пестрецов. — От Совета мне прислан для охраны.

— Да вы что же? С Советами или с Корниловым?

Пестрецов замахал руками, приложил палец к губам и поспешно вышел из кабинета.

Первым движением Саблина было встать и уйти отсюда. Но куда? Один в поле не воин. Вся Россия такая. Всюду оживленные лица солдат, чем-то озабоченных, что-то делавших, чем-то взволнованных. Их миллионы. Они вооружены ружьями и пулеметами, в их руках пушки и броневые машины. В их море тонут бесправные, оклеветанные генералы и офицеры, лишенные власти и авторитета. Куда убежишь от этой серой массы, буквально облепившей всю Россию? Усталость брала свое. Саблин покорился судьбе, вспомнил о многих и многих офицерах, находящихся в еще худшем положении, перекрестился и лег спать.

Проснулся он рано. Косые лучи солнца смотрели в комнату без занавесей. Вставало грустное утро севера. По нему так соскучился Саблин! Саблин оделся и прошел в столовую. К его удивлению, Пестрецов уже пил чай.

— Ты куда же в такую рань? — спросил Пестрецов.

— Гулять.

— Пойдем вместе. Комиссарчик мой спит, и я свободен.

Они пошли на берег реки Великой.

Издали, из города, несся такой знакомый Саблину дробный стук конских копыт, кавалерия шла по городу. Саблин остановился. На мост, направляясь в Завеличье, спускались эскадроны драгун на вороных лошадях. Красивые лошади, всадники с пиками, заброшенными за плечо, рисовались на фоне крепостных стен старого Пскова, и сердце Саблина сжалось тоскою.

— Это что же такое? — спросил он.

— Это, — сказал Пестрецов, — судьба... Рок... Против рожна не попрешь.

— Но неужели идти с рожном?

Пестрецов не ответил. Внизу темными волнами текла холодная река Великая, топот конских копыт удалялся и становился тише. Эскадроны сходили с мостовой. Ясное небо сияло над серыми башнями, над церквами с головами-луковками и белыми простыми стенами кремля. Золотистые березки с белыми стволами были на том берегу, и в них, и в реке была радость теплому солнцу, синему небу и догорающему бабьему лету. На душе Саблина от этой родной и милой картины грустного севера становилось еще грустнее. Точно с летом умирала и сама Россия, точно вместе с тихо падающими желтыми листочками березы падала и слава русская, точно вместе с осеннею водою, которою набухала почва, набухала кровью вся русская земля...

— Крымов застрелился в Петрограде... — отрывистым шепотом говорил Пестрецов. — Генерал Корнилов арестован по приказу Керенского. В Ставку приехал генерал Алексеев. Керенский назначил себя Верховным Главнокомандующим армии и флота... Вся конная армия Крымова изменила Корнилову, и делегации казаков и солдат явились к Керенскому с выражением готовности служить ему... Керенский работает в полном контакте с Советами... Саша... Конечно, ты одинок, у тебя никого и ничего не осталось, ты можешь рисковать. Но для чего рисковать? Если бы были действительно Наполеоны, — ну тогда, тогда и я пошел бы... А, может быть, правы они?

— Кто они? — усталым голосом, через силу спросил Саблин.

— Новая Россия... Демократия, пролетариат, Советы... Отцы никогда не понимали детей... И мы не понимаем их. А, может быть, на их стороне правда...

— Правда в измене родине, правда в сдаче врагу позиций, правда в убийстве честных и лучших офицеров и генералов, правда в грабеже и насилии! — воскликнул Саблин и посмотрел на Пестрецова.

Пестрецов стоял, опустив голову. При ясном утреннем свете Саблин увидал, как обрюзгло и пожелтело его лицо. Перед ним стоял старик. Презрение и жалость боролись в Саблине.

— Саша, мы не понимаем новой России. Не может же быть, чтобы великий русский народ не выдвинул из недр своих людей, способных управлять государством.

— Чхеидзе, Бронштейны и Нахамкесы — вот кого выдвинул русский народ, вот кто взял палку

и стал капралом. Ваше превосходительство, вы не чувствуете, что за Советами стоит не Россия, а Интернационал, а за Интернационалом какая-то дьявольская тайная сила.

— Надо идти с ними... Их не победить... Идя с ними, хоть что-нибудь спасешь, а если уйти от них, Россия обратится в пустыню, — уныло шептал Пестрецов.

— С ними идти нельзя. Надо бороться с ними и победить их.

— Борьба бесполезна... А, право, с ними не так уж плохо работать. У них есть здоровые, práктически мыслящие люди.

— Вы с ними?

— У меня, Саша, Нина Николаевна. Это такой ребенок...

— Прощайте, ваше превосходительство! Мне с вами не по пути.

Саблин резко повернулся и пошел от Пестрецова.

В тот же вечер он уехал в Перекалье, к своему корпусу, где узнал, что он Керенским отставлен от командования корпусом и вызван в Петербург.

Все это время Саблин почти безвыходно провел на своей квартире. Что мог он делать? Он — генерал свиты Государя императора. Одного его появления было достаточно, чтобы разъярить и взволновать солдат. Сначала он пробовал найти работу и пошел к военному министру Верховскому. Верховский был из хорошей семьи, учился когда-то в Пажеском корпусе, там увлекся социальным вопросом, был исключен из корпуса, разжалован в рядовые и сослан в Туркестан. Там он хорошо себя зарекомендовал, добился производства в офицеры, поступил в Академию. Он был л е в ы й , но по рождению и воспитанию он был н а ш , и Саблин надеялся, что с ним он найдет общий язык. Прием у Верховского был по-демократически, с восьми часов утра, и к этому времени было назначено прийти и Саблину. В приемной, в доме на Мойке, когда-то угольной гостиной Сухомлинова, мебель была чинно расставлена вдоль стен и покрыта пылью. Видно было, что с самой революции хозяйская рука не касалась ее и вытирали ее только платья просителей. У Верховского ожидало приема несколько солдат, потом являлась какая-то украинская депутация показывать министру новую форму. Это были рослые молодые гвардейцы — полковник, обер-офицер, фельдфебель и солдат, одетые в какую-то русско-французскую форму с генеральским малиновым лампасом на штанах. Они охорашивались, как женщины, перед зеркалом и все спрашивали: хорошо ли? От них веяло опереткой. Полковник готовился сказать благодарственную речь Верховскому за проведение идеи создания особой украинской армии. Всех их адъютант пропустил раньше Саблина, несмотря на то, что сам же по телефону назначил Саблину прийти к восьми часам.

Когда Саблин ему мягко заметил об этом, он вычурно вскочил и воскликнул:

— И з в и н я ю с ь , господин генерал. Но то депутации, комитеты, выборные от частей, и по демократическим правилам я обязан их пропускать ранее генералов.

Саблин хотел уйти, адъютант испугался и доложил о нем Верховскому.

Верховский, молодой человек, сидел за громадным письменным столом. Лицо его было неуверенное и жалкое. Как ни старался он играть в республиканского министра, эта роль ему не удавалась. Он старался быть важным, но ордена и осанка Саблина его смущали, и вместе с тем он боялся сидевшего сбоку за столом юного штаб-офицера Генерального штаба, вероятно, комиссара, или его помощника, без которого он не смел ничего делать. Он хотел быть светски любезным и демократически грубым, хотел перед комиссаром из Совдепа показать, что ему плевать на генералов и все для него "товарищи", но в то же время слово т о в а р и щ , примененное к Саблину, у него никак не выходило.

Верховский выразил удивление, что Саблин обращается к нему. Он ничего не знал о том, что Керенский назначил Саблина в его распоряжение.

— Таким боевым генералам, как вы, место на фронте. Армия нуждается в них. Я во всяком случае узнаю, какие будут распоряжения относительно вас, и вам сообщу. Вы здесь живете?

Саблин сказал свой адрес.

— Отлично, отлично. Работы теперь так много, мы получили такое тяжелое наследство, что вы не останетесь без дела.

Это было 18 сентября, но кончился сентябрь, проходил и октябрь, а никто не беспокоил Саблина на его квартире. Не было пакетов из канцелярии военного министра, не было звонков по телефону. Бродя по улицам, встречаясь со знакомыми по гвардии, толкуя с ними, Саблин скоро понял, что никакого вызова и не может быть. Ни Саблин, ни те, кто походил на Саблина по своим убеждениям, не были нужны Керенскому. Ему нужно было не создавать, но разрушать и русскую армию, и самую Россию.

Керенский был Верховный Главнокомандующий армии и флота и председатель Совета Министров, но держал он себя, как монарх. В Ставке он бывал налетами, армия его не интересовала, он только позировал перед нею.

Саблин видел ежедневно, — он нарочно ходил смотреть на это, — как громадные толпы солдат с утра наполняли Александровский рынок. Вся набережная Фонтанки и площадь подле рынка были серы от них. Там, на глазах у всех, солдаты продавали свое казенное солдатское обмундирование, покупали штатские тройки, тут же переодевались и толпами, с котомками на плечах, текли на вокзалы железных дорог. Демобилизации армии никто не объявлял, но она уже расхо-

дилась самовольно, на глазах у всех.

Все железные дороги были переполнены солдатами. Солдаты требовали у железнодорожных служащих эшелонов, составляли поезда и, нарушая движение, рискуя крушениями, ехали, куда хотели.

На Марсовом поле иногда по утрам Саблин видел жалкие шеренги обучающихся солдат. Они часами стояли, ничего не делая, грызли семечки и пересмеивались. Как-то раз Саблин увидел на поле эскадрон своего родного полка. Его сердце мучительно сжалось, рой воспоминаний охватил его, и он пошел к эскадрону. Учил эскадрон солдат. Лошади были худые и нечищеные. В таком виде Саблин никогда не видел лошадей своего полка. Люди болтались в седлах, все было грязное, ржавое.

Совсем молодой офицер граф Конгрин стоял пеший в стороне. Саблин знал его. Он подошел к нему и спросил, почему он не учит солдат.

— Ах, ваше превосходительство, — взволнованно ответил корнет Конгрин, — но они меня не послушаются. Сегодня и так чудо. Сам комитет постановил произвести учение.

Солдаты не слушаются офицеров, не признают генералов — такова была система управления армиями Главковерха Керенского, отнявшего власть у генерала Корнилова во имя спасения не России, но революции.

Газеты были полны резолюциями и постановлениями армейских комитетов и съездов, комитетов корпусных и дивизионных.

"Комитет Тьмутараканского полка постановил продолжать войну с неприятелем до победного конца в полном согласии с союзниками. Позор предателям дезертирам, покидающим окопных товарищей".

"Комитет N-ской дивизии постановил ввести в полках дивизии революционную дисциплину и установить товарищеское приветствие друг друга".

А рядом с этим партией большевиков при бездействии "Главкосева" Черемисова в Пскове издавалась газета "Окопная правда", где печатались статьи о необходимости заключения мира с немцами без аннексий и контрибуций, о демократизации армии, о выборном начале.

Керенский и Совет солдатских и рабочих депутатов работали в полном согласии. Корниловым к Петербургу был стянут III конный корпус, состоявший из надежных и твердых людей. Здравомыслящим лицам удалось уговорить Керенского оставить этот корпус подле столицы "на всякий случай". Но началась планомерная работа большевиков, и корпус систематически растаскивали по эскадронам и по сотням и разбросали по Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, Витебской, Псковской и Новгородской губерниям, где оставленные без влияния старших начальников казаки разложились, потеряли дисциплину и перестали повиноваться.

Саблин видел все это. Какая-то властная рука готовила последний удар России и не было никого, кто бы мог отвратить этот удар. Была ли это рука германского Генерального штаба, неустанно через Швецию переводившего деньги Ленину на его работу, была ли это рука таинственного Интернационала, готовящего царство сатаны, была ли это просто глупость Керенского, у которого в Зимнем дворце закружилась от власти голова, — это было все равно. Саблин видел, что остранить эту руку он не может.

Для Саблина не были поэтому неожиданностью октябрьские события. Они должны были свершиться. Он презирал таких генералов, как Пестрецов, но он понимал, что они могли или ничего не делать, "саботировать", как говорили в эти дни, как это делал сам Саблин, или идти с рожном в надежде хоть от чего-либо этот рожон удержать.

На глазах у Саблина избивали мальчиков-юнкеров, убивали офицеров. Что мог он сделать? Только умереть, только быть таким же избитым и убитым. Саблин знал, что он обречен на смерть, что та "Еремеевская" ночь, ночь избиения офицеров, о чем сладострастно толковали солдаты с самой Февральской революции, уже наступила. Он понимал, что офицерство русское, а с ним и вся интеллигенция восходила на Голгофу страданий, и с ними вместе шел и Саблин. Он не боялся смерти. Жизнь давно утратила для него свое значение, потому что та красота жизни, которую дает семья, родина, свой полк, армия, победы и Царь как символ всего этого, были вырваны из его сердца. Но ему не хотелось умирать, как барану, ведомому на заклание, как убойному скоту, ему хотелось отдать свою жизнь в борьбе, и он ждал того момента, когда эта борьба начнется, чтобы в ней дорого отдать свою жизнь, а пока берег себя.

25 октября красное знамя мятежа перешло в руки большевиков, и началась их быстрая разрушительная работа.

Саблин часто сравнивал состояние России с состоянием тифозного больного. Период Временного правительства — это было скрытое состояние тифа, когда больной еще ходит, у него нестерпимо болит голова, иногда начинается бред, но окружающие еще не чувствуют, какая у него болезнь. Теперь кровавый бред окончательно свалил больного, и жуткие кошмары начали душить его. Но дальше должно быть выздоровление. Саблин ждал этого выздоровления.

А если смерть?

Саблин не верил в возможность смерти нации.

2 ноября Совет Народных Комиссаров вызвал в Смольный для допроса ученого артиллериста и академика, начальника Михайловского артиллерийского училища и артиллерийской академии генерала Карачана. Допрос продолжался недолго. За Карачаном никакой вины не нашли. Матросы вывели из Смольного, завели в переулок и зверски убили.

На улице убили трех прелестных мальчиков французов, сыновей учителя французского языка Гениеза. Они не были ни офицерами, ни юнкерами. Как иностранцы они оставались чуждыми русской революции. Их поставили к стене и в сумерках осеннего вечера расстреляли по всем правилам палаческого искусства.

Одних хватали, возили для допроса в Смольный, проделывали комедию какого-то суда, везли в Петропавловскую крепость или на Смоленское поле и там расстреливали несколькими выстрелами из ружей, других просто убивали на улице, на квартире, в больнице, третьих буквально растерзывали — советская народная власть "покоряла под нози" всякого врага и супостата.

9 ноября новая народная власть объявила о назначении Верховным Главнокомандующим армией прапорщика Крыленко.

Русская армия приняла его, потому что он был народным героем того времени. Саблин поинтересовался прошлым нового Главковерха, и вот что он узнал.

Крыленко был учителем истории. Это был маленький, озлобленный, нескладно сложенный, безобразный, желчный интеллигент — точная копия знакомого Саблину Верцинского. Должно быть, когда-то кто-нибудь из офицеров оскорбил Крыленко; он ненавидел офицеров и военную службу. На одном из митингов, в разгаре проводимого Керенским углубления революции, Крыленко вышел на эстраду, произнес патетическую речь, сорвал с себя погоны и ордена и в диком экстазе стал топтать их, называя их клеймом рабства. Возбужденная им солдатская толпа последовала его примеру. Старые заслуженные прапорщики и солдаты, офицеры, перепуганные насмерть, срывали с себя колодки с Георгиевскими крестами, рвали на себе погоны и несли к ногам Крыленко. Это и сделало Крыленко народным героем, и приблизило его к шпионской шайке Ленина.

Первым приказом Крыленко было требование по всему фронту послать парламентеров для переговоров с немцами о мире. Мир должен быть заключен через головы генералов и правительства самими солдатами. Мир должны были заключать роты с ротами, батальоны с батальонами, полки с полками...

Это была такая новость для международного права, что даже немцы усомнились в возможности так добиться мира и решили снестись со Ставкой, с Могилевым.

В Могилеве после бегства Главковерха Керенского автоматически вступил в исполнение этих обязанностей его начальник штаба генерал Духонин.

Это был молодой еще, красивый генерал Генерального штаба, вполне порядочный, но робкий и нерешительный. Он отдался в распоряжение комиссаров и правил армией через них, вернее, подписывал текущие бумаги.

Он возмутился такому приказу Крыленко и не признал его. Крыленко во главе матросских и латышских банд двинулся к Ставке на нескольких поездах. Шли медленно, осторожно, трусливо. Малейшее сопротивление ударных корниловских войск, и все эти банды вместе с самим Крыленко убежали бы без оглядки. Но после долгих митингов ударные батальоны умыли руки и объявили нейтралитет. Крыленко побоялся ехать в Ставку и потребовал, чтобы Духонин явился к нему в поезд для доклада. Он гарантировал ему полную безопасность. Напрасно комиссары и друзья Духонина отговаривали его ехать к Крыленко, советовали ему переехать в Чернигов, уже и автомобиль был готов. Духонин счел себя обязанным покориться новой власти. Надо было быть последовательным. Кто, изменив Государю, присягнул Временному правительству, кто вместо великого князя Николая Николаевича признал Брусилова, потом Корнилова, потом Керенского, должен был признать и Крыленко.

Страшен был только первый шаг измены природному Государю, дальнейшие были легки, и никто не думал, что последний ведет в пропасть.

Едва Духонин появился на перроне вокзала, на него бросились свирепые матросы. С него сорвали погоны и буквально растерзали его на глазах у Крыленко. Его раздели, страшно, цинично осквернили труп и оставили лежать на перроне.

За телом убитого мужа приехала вдова. Ее водили к трупу, издевались над нею и после долгих унижений выдали ей труп для погребения...

Убийство Духонина, совершенное неслыханно зверски и сопровождавшееся небывалым надругательством, понравилось армии негодяев и предателей. Всякий приговор к смерти офицера или генерала объявляли с этого времени с циничной усмешкой: "Получаете новое назначение! В штаб генерала Духонина!.."

Саблин знал все это. Он знал, что и он находится в числе обреченных на "командировку в штаб генерала Духонина". По совету Петрова, оставшегося верным ему, хотя и служившего "в собственном Ленина гараже", Саблин съехал со своей квартиры и кочевал теперь с места на место, ночуя по знакомым и преимущественно у Мацнева, иногда в пустой квартире князя Репнина либо в квартире Гриценко или Марии Федоровны Моргенштейн.

Личная жизнь его прекратилась.

"Что же Россия?", — часто думал Саблин, засыпая то на диване в гостиной, то на оттоманке в кабинете, то на мягких перинах любовно постланной ему постели в особой комнате у Марии Федоровны, то в комнате лакея. "Что же Россия?" — И должен был ответить себе: "Ничего Россия. Шумит по городам и весям, волнуется красными знаменами, объявляет самостоятельные республики и готовится к выборам в Учредительное собрание".

Война не то идет, не то нет. Одни люди сидят в окопах, хотя и знают, что если немцы станут наступать, то они убегут. Другие деловито и спокойно едут домой, тащат за собою оружие и с оружием готовятся отнимать чужую землю и делить ее между собою. А по всей России вывешены

плакаты, списки по номерам, партии враждуют между собою, партии выхваляют выставленных кандидатов, партии сулят золотые горы, молочные реки и кисельные берега.

"Как жаль, — думал часто Саблин, — что дядюшка Облеписимов уехал. То-то доволен был бы теперь, то-то шумел бы и кричал: "У нас, как в Англии!"

Все говорили, что пройдут эсеры и большевики. И не могло быть иначе. К урнам готовились идти с оружием в руках и громко заявляли: "Кто не с нами, тот против нас, а кто против нас, того в штаб генерала Духонина".

14 ноября избиратели потянулись к урнам, а солдаты, стоявшие подле мест выборов, посмеивались и говорили: "Не видать вам Учредительного собрания. Наша теперь власть!"

И от этого падало уважение и вера в Учредительное собрание. Называли его просто "Учредилкой" и мало интересовались тем, кто пройдет. И менее всего интересовался этим Саблин. Он вспомнил, как еще в 1905 году ему говорил управляющий на заводе, где он стоял с охранным взводом, что всеобщее, прямое, равное и тайное — это только ловушка. Голосование не было всеобщее, потому что к урнам не явилось громадное большинство: просто боялись солдат-большевиков. Оно не было прямым, потому что не было достаточной проверки, кто подает записку, так как города были переполнены пришлым элементом — солдатами, для которых уже ничего не было святого. Оно не было тайным, потому что партии заготовляли и рассылали печатные списки и готовые конверты и можно было знать, кто за какой список голосует. Наконец, оно не было равным, потому что большевики уже проявили террор в полной мере и боялись голосовать против них. Это была комедия, а не выборы.

Не пошел и не подал своего голоса и Саблин. Не пошел по убеждению. Из отдельных лиц он нашел бы, может быть, кого выбрать, но голосовать за списки не мог. Больше других ему нравился казачий список, начинавшийся именем Каледина, но когда Саблин расспросил про остальные имена, то оказалось, что дальше следовали лица, в полной мере парализовавшие Каледина. Честные, благородные люди, любящие родину, попрятались в подполье. Одни из скромности, другие из трусости, и в Учредительное собрание нагло перла мразь и темные силы, чтобы разрушать, а не восстанавливать Россию.

Три года тому назад, перед войною Саблин, думая о Государственной думе, пришел к тому убеждению, что в России н е т л ю д е й. Говорят, война родит героев. Эта война не только не родила героев, она уничтожила их. Кого ни вспомнишь, его уже нет на свете. Застрелился на поле сражения у Сольдау, не желая идти в плен к немцам, доблестный генерал Самсонов, томится в Быховском застенке горячий патриот Корнилов, ушел в отставку пылкий и честный граф Келлер, застрелился Крымов, убит доблестный Каринов. Кто остался? Остались и продолжают где-то копошиться те, кто предал Государя, те, кто сегодня носил царские вензеля и был счастлив назначению в свиту или в генерал-адъютанты, а завтра рвал с себя в угоду толпе вензеля, драпировался красной материей и свои речи начинал лживыми словами: "Я демо-крат и друг народа. Моя идея — народовластие. Я социалист и революционер!"

Что же? Выбирать их, готовых менять ежеминутно свои убеждения? Их, ищущих, где жареным пахнет, и способных продать честь и достояние России?!

Рана была ужасная, и Саблин за эти три месяца поседел и постарел на двадцать лет. Остались только юношески гибкая талия, осанка старого военного, да стальным блеском воли горели серые глаза.

Кругом суетилась толпа. Люди веселились, как никогда. Кинематографы полны народа, в театрах шли спектакли. Мария Федоровна ежедневно пела в концертах, и это веселье, когда у лавок с хлебом стояли часами длинные очереди, когда уже не было сахара, когда мясо стало редкостью и половина магазинов стояла с заколоченными окнами, казалось пиром во время чумы.

Правительство старалось урегулировать распределение продуктов, быть справедливым. Но весь народ сверху донизу стал бесчестен, открылись ходы и возможности добывать муку и продукты со стороны, явилась протекция, и каждый тащил к себе все, что мог, создавая запасы на черный день. Каждый чувствовал и понимал, что черный день наступал.

Советская власть наложила руку на всякую собственность. Начались повальные обыски, ревизия банковских сейфов, а вместе с этим начался повальный грабеж. Состояния в золоте, бриллиантах и бумагах перекладывались из одних карманов в другие. Это делалось беззастенчиво, просто, нагло, на глазах у всех. Чтобы спасти хотя бы часть имущества, надо было дать крупную взятку комиссару, наряду Красной гвардии, комитету, Совету. Если Ленин — глава правительства, брал взятки от германского императора за предательство России, то как же было не брать этих взяток комиссарам и прочей власти рабоче-крестьянской республики? Брали, как никогда, и разврат красных чиновников достиг в эти дни небывалых размеров.

Саблин постоянно читал Евангелие. В каждом новом декрете он видел подтверждение слов Спасителя и чувствовал, что настают последние времена. Он ждал Антихриста.

Продолжение следует

БЫТОПИСЕЦ ТИХОГО ДОНА

Федор Дмитриевич Крюков — талантливый писатель и человек трагической судьбы. Это имя все чаще стало появляться на страницах периодической печати и почти всегда в сцепке: Крюков — "Тихий Дон" — Шолохов, связывающей имена двух талантливейших бытописцев Тихого Дона — дореволюционной России, второго — советского периода. Так уж сложилось в период становления нашей советской литературы, что при возвеличивании таланта одного писателя — Шолохова всегда принижался талант другого — Крюкова.

Не будем сейчас сравнивать и анализировать творчество обоих писателей, а просто познакомим нашего читателя с небольшим произведением Ф. Д. Крюкова, осветив предварительно важнейшие вехи его творческого пути.

Ф. Д. Крюков родился 2(14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа земли Войска Донского (ныне Волгоградская область) в семье станичного атамана.

Окончив усть-медведицкую гимназию, он приезжает в Петербург и поступает в историко-филологический институт. На студенческие годы приходится начало литературной деятельности Крюкова. Отослав в редакцию свои первые рассказы, он делает такие дневниковые пометки: "Неужели не примут? Одна только думушка, одна мысль об этом... Ах, если бы приняли ... Я ничего не могу делать, меня берет тоска. Я думаю: были люди, как люди, были писатели, как Г. Успенский и др. И я хочу быть писателем, бойцом на поприще пера, а между тем у меня нет ничего. Я люблю свой народ, рад послужить, но не могу, не могу. Господи! Смилуйся! У меня есть пыл, у меня сердце сильно бьется, изнывает при мысли о других, а судьба равнодушно давит. Господи! Пошли утешение!"*

Сохранившиеся дневники и записные книжки Крюкова подчеркивают своеобразную манеру будущего писателя: они написаны в виде миниатюрных дневников — бытовых зарисовок. Первые такие бытовые миниатюры были помещены в "Петербургской газете" за подписью Березинцев. В 1892 году его статья "Казачьи станичные суды" публикуется в "Северном вестнике" (№ 4), а в "Историческом вестнике" (№ 10) появляется очерк из быта старожилого казачества "Гулебщики". В 1896 году в журнале "Русское богатство" (№ 10) опубликован рассказ "Казачка. Из станичного быта", принесший известность писателю и положивший начало плодотворному сотрудничеству писателя с этим журналом.

После окончания института в 1892 году Ф. Д. Крюков до 1901 года работает преподавателем вначале в орловской гимназии, затем в нижегородском реальном училище. Но не прерывается его связь с Доном, он живо интересуется жизнью казачества, настроением казаков и их отношением к русско-японской войне. Ведет обширную переписку, получает подробнейшую информацию о жизни и событиях на Дону, сам ежегодно приезжает в родной край.

В это время укрепляются его связи с журналом "Русское богатство", где один за другим появляются его рассказы и очерки "Из дневника учителя Васюхина", "Картинки школьной жизни", "В родных местах", "На Тихом Дону," и др.

В своих произведениях он воспроизводит то колоритный быт донского казачества, то положение станичной интеллигенции и ее отношения с простым народом, то порядки, царившие в губернских гимназиях России.

---

* Крюков Ф. Д. Из дневника от 27 апреля 1890 г. Частн. собр.

В 1906 году Крюков уходит в отставку и возвращается на Дон, где, продолжая писательскую работу, увлекается общественной и политической деятельностью.

В 1906 году от Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского популярный писатель Дона выбирается земляками депутатом I-й Государственной думы. В Думе он отстаивает интересы казачьего населения Дона.

Выступления Крюкова в Думе и в печати в период 1906—1907 годов направлены против посылки донских казачьих полков на подавление революционных выступлений рабочих России, на требование демократических выборов, отмены сословий и национальных ограничений.

В числе 167 депутатов I-й Государственной думы он 10 июля 1907 года подписывает "Выборгское воззвание" к гражданам России с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста против роспуска Думы, за что приговаривается к месячному заключению в Крестах, лишению избирательских прав и запрету въезда на Дон.

После освобождения из тюрьмы Крюков все больше отдается литературной работе, сближается с работниками редакции "Русское богатство" — редактором В. Г. Короленко, критиком А. Г. Горнфельдом, публицистом А. В. Пешехоновым и другими, становится постоянным сотрудником журнала. Связь с Доном поддерживает путем переписки с сестрой Марией Дмитриевной Крюковой, которая на протяжении 11 лет вплоть до апреля 1917 года почти ежедневно направляла ему в письмах подробные отчеты о жизни в Глазуновской и Усть-Медведицкой.

В 1907 году выходит первый сборник рассказов и очерков Ф. Д. Крюкова "Казацкие мотивы". Второй сборник "Рассказы. Том I" вышел перед самой первой мировой войной в 1914 году. В рассказах и очерках писатель изображает всю тяжесть царской службы казаков, положение казацкой бедноты, бесправие женщин, революционное брожение среди донских казаков.

В период первой мировой войны Крюкова призывают в армию, он служит в 5-м Кавказском корпусе 7-й армии, в 3-м санитарном отряде Государственной думы. Публикует военные очерки в "Русских записках" (под таким названием с конца 1914 года выходил журнал "Русское богатство") и в "Русских ведомостях", собирает материалы для большого романа из жизни казачества.

Февральская революция застала писателя в Петрограде. В марте 1917 года Крюков избирается в Совет Союза Казачьих войск. В апреле он выезжает на Дон, где земляками выбирается делегатом на Войсковой Круг, позже становится секретарем его. Но его тянет к литературе, он стремится уйти от политической деятельности, считая "бесплодным" сепаратистское донское правительство.

В одном из писем, посланных из Новочеркасска в апреле 1917 года, он пишет: "Завтра кончается казачий съезд — кстати сказать, совершенно сумбурный, бестолковый и бесплодный. Я заеду отсюда в Глазуновскую на несколько дней и затем — в Питер. Не знаю, кого из говорящей застану там. Хотя мне и угрожают тут оставить меня на какое-нибудь амплуа, но у меня пропала охота к начальствованию в данный момент, да и чувствую, что соскучился по литературе. Материалом переполнен до чрезвычайности"*.

Но его мечтам не суждено было сбыться. Крюков остался на Дону. В ноябре 1918 года в книгоиздательстве "Север Дона" в Усть-Медведицкой выходит сборник "Родимый край", посвященный двадцатипятилетию литературной деятельности Ф. Д. Крюкова (1893—1918 гг.), ставший своеобразным венком писателю.

В августе 1918 года он избирается членом Войскового Круга и его секретарем. В 1919 году редактирует в Новочеркасске газету "Донские ведомости".

В 1920 году в феврале месяце во время отступа Донской армии Крюков заболел сыпным тифом в районе станицы Новокорсунской, ныне Краснодарского края и умер 20 февраля (4 марта) 1920 года. По свидетельству его земляка, отступавшего вместе с ним, донского казака Прохора Ивановича Шкуратова, Ф. Д. Крюков похоронен недалеко от стен монастыря.

В воспоминаниях землячки писателя, Ольги Кузьминичны Моисеевой (до замужества Поповой), говорится, что, находясь в Екатеринодаре, она встретила станичников депутатов Государственной думы Сергеева Александра Ивановича (бывшего атамана) и Марчукова Никиту Вакумовича, которые сказали, что умер Крюков от сыпного тифа, что они получили приглашение на панихиду и похороны, которые состоятся в церкви Усть-Лабинской станицы. Сообщили также, что у Крюкова украли чемодан с рукописями, о чем они очень горевали.

Так трагически оборвалась жизнь интереснейшего и самобытного писателя, певца и бытописца Дона Ф. Д. Крюкова. Разбросанные по частным собраниям, лежащие глубоко в архивах музеев и библиотек неизданные произведения писателя ждут своих исследователей. А настоящая публикация — дань глубокого уважения к творчеству писателя.

Борис БЕРЕНДЮКОВ

---

* Крюков Ф. Д. Письмо хранится в ЦГАЛИ СССР, фонд 155, ед. хр. 676.

Федор Крюков

МЕЧТЫ

— Самоуправный народ — русские ... до того самоуправный — просто говорить не остается! — повторил несколько раз укоряющим тоном Роман Ильич, отставной сотник.

Он сидел на пустом ящике из-под мыла и в своем древнем офицерском пальто похож был на копну посеревшей от старости соломы. Когда он говорил, то мотал головой, словно отгонял надоедливых мух, и черная тень от его лохматой папахи размашисто мигала от двери к потолку по блестящей жести банок с халвой и, казалось, наспех ревизовала левую половину лавки.

Шишов, Федот Иваныч, хозяин лавки, румяный, солидной комплекции господин, молча нанизал на мочалку сухие, твердые, как камень, крендели, завязал ее в узел и встряхнул связку. Крендели звонко заговорили, как пучок пустых кубышек.

— Вот вы попрекаете нас, Роман Ильич, — со снисходительною мягкостью полированного человека сказал он, подавая связку, — а я имею честь предъявить вам, что совершенно напрасно. С людей беру по шести, с вас кладу по пять с половиной. Одиннадцать копеечек — с... два фунта... Русский народ отнюдь не самоуправный...

Роман Ильич, принимая покупку, тоже слегка встряхнул ее и окинул примеривающим взглядом, как будто сомневался в правильности веса. Крендели снова издали короткий, сухой звон, который говорил: "Готовь лишь зубы покрепче, а товар — первый сорт". Обвинение русского народа в самоуправстве, в сущности направленное лично против Шишова, который назначил было сперва цену за крендели слишком высокую, как показалось Роману Ильичу, теперь отпадало само собою. Положим, уступка, которую он сделал, не Бог весть как значительна, но она сделана в такой подкупающей форме, — сотник был отличен от "людей", — что дальше возражать против цены было просто неловко. Роман Ильич сказал примирительно:

— Ну, запиши там...

Шишов ловким движением, за самый кончик угла, выбросил на прилавок длинную долговую книгу, разыскал страницу с фамилией сотника Евтюхина и старательно вывел: "2 фу. крс. 11 ко."

Затем вытер перо о волосы и сказал:

— Вы говорите, Роман Ильич, что, дескать, самоуправный мы народ — русские...

Он говорить любил и умел говорить занимательно, чисто, свободно и искусно. Лукавый огонек добродушного зубоскальства дрожал в его глазах, когда он обращался к сотнику. И легко-насмешливая, сдерживаемая веселость невольно передавалась также другим посетителям лавки. Их было еще трое. Бородатый казак Ерофей Маштак поместился у двери, на куче подпосок, шкворней и железных лопат; агент фирмы Зингер Попков, носивший бумажные воротнички, сидел против сотника на мешке с ячменем (Шишов принимал в уплату за товар не только звонкую монету, но и продукты местного производства), а в самых дверях стоял коротенький мужичок Ферапонт Тюрин.

Они сходились сюда каждый вечер, на огонек. Стояли длинные, безмолвно-черные ночи осени с долгим, беспокойным сном в душной тесноте закутанных жилищ и с нудной бессонницей, рождающей одинокие, бессильно тупые, однообразные и тесные мысли, беспорядочные и нерадостные воспоминания, от которых уставала голова и бессильная досада надолго застревала в сердце, — нелепые грезы о том, чего никогда не бывает и не будет. В таинственно-черном мраке думы о безотрадно текущей жизни, окутанной бесконечной цепью неизбывных будничных забот, недостатков, суеверных страхов и усталой злобы, походили на грузные мешки-пятерики с песком, которые с безмолвной медлительностью наваливались на грудь, давили голову и тисками сжимали сердце. И ночь казалась бесконечной, как сказочное темное подземелье с запечатанным выходом.

Спасаясь от этих бессонных ночей, они шли коротать вечер в лавку. Здесь был свет, — плоский, небольшой язычок огня дрожал, вытягивался и коптил в висячей лампе, — не яркий огонек, но по улице, закутанной в сырой пугающий мрак, далеко было его видно. Был табак, который Шишов предоставлял бесплатно посетителям лавки, в расчете, может быть, на привлечение покупателей. Льготной махоркой особенно широко пользовались Ферапонт и Ерофей Маштак. Они курили безостановочно все время, пока были в лавке.

Была, наконец, беседа — иногда вялая, но иногда занимательная, нередко шумно-веселая, с крепкими шутками и раскатистым хохотом.

Тихая, несложная жизнь станицы, туго изменяющаяся, бедная событиями, мало давала пищи для обмена мыслями. Зато безгранична была область за рубежом станичного юрта. И хотя они не знали, какая жизнь там шла, но были уверены, что жизнь эта удивительна, разнообразна, интересна и богата. И они особенно любили толковать именно о том, чего не знали: о замыслах царей, о колдунах и мертвецах, о диких людях. Если кто-нибудь из них вдохновлялся и начинал передавать обрывки где-то слышанного, украшая их собственной фантазией и выдавая создание ее за действительность, они охотно верили ему, лишь бы рассказ был хоть немного гладок и интересен... мало ли чего на свете не бывает!..

А иногда молчали. Курили и с равнодушно-усталым, полусонным видом прислушивались к редким, случайным звукам, которые рождались под плотным рядном черной осенней ночи. Вот зашуршал мелкий неторопливый дождик, пошептался минуты три, пошелестел, как кудрявый тополь листвой, и тихо ушел дальше, убедившись, что грязи в станице достаточно. Пролаяла скучливо собака. Наверно, прикорнула где-нибудь на гумне, свернувшись кренделем, спит и только изредка, не поднимая головы, подаст голос, обмануть хочет: не сплю, мол... Журавец поскрипит над колодцем. Кто-то не спит еще. Должно быть, девки на сиделки у кого-нибудь собрались...

Когда становилось скучно молчать, Шипов, балагур не последней руки, начинал шпынять смирного Ферапонта. Ферапонт был человек очень маленький и ростом, и социальным положением. Все привыкли глядеть на него сверху вниз, так как он, несмотря на серьезную бороду, почти весь уходил в неуклюжие сапоги с широкими, как лопухи, голенищами. На веселонравие собеседников он не обижался, привык и считал, что это лишь от скуки, "для разгулки времени".

Осторожно подтрунивали и над старым сотником. Роман Ильич был господин серьезный, даже суровый. Как единственный офицер в станице, он привык к почету, не терпел конкуренции и ревниво наблюдал за тем, чтобы его чин знали и помнили, чтобы в церкви никто раньше его не подошел к кресту, чтобы при встрече ему давали дорогу и снимали перед ним шапки. Жизнь он прожил долгую. Хотя она не была разнообразна и богата событиями, но за восемь десятков лет накопилась достаточная куча, из которой он по временам извлекал кое-какие обломки на потеху своим слушателям, сам не замечая, что забавляет их своею первобытностью.

И так они убивали врага своего — время, тихо и ровно разматывавшее клубок их несложной жизни, в которой радости были редки, мелки и незавидны, а беспомощно-тупая скука, нужда и печали слишком привычны, чтобы на них долго останавливаться мыслью.

— Самоуправный, дескать, народ... — повторил Шипов, и в голосе его слышался играющий смешок. — Значить, обвиняете вы нас с Ферапонтом, не иначе... Мы с ним тут русские, а вы трое будучи казаки. Хорошо-с. Это еще не голос. А вот позвольте вам, наоборот, возразить насчет казаков: как ваш батюшка — царство небесное! — Ермак Тимофеевич жил, разбой держал, так и сейчас этот самый манер не вывелся...

— Ну нет, брат, сейчас казаки дисциплину знают! — строго и с достоинством возразил сотник.

— А я вам на это имею честь возразить следующим примером: вон у меня в горнице висит сейчас картинка, и на ней разные народы, какие под нашей державой стоят. По почему казаков там нет? Объясните вы мне, сделайте милость! Значить, поэтому они в списке у царя не состоят?

Роман Ильич посмотрел вполуоборот на Шипова слегка озадаченным взглядом человека, не быстро соображающего, но склонного к обидчивости, и враждебным тоном возразил:

— Не может быть! Хвастаешь, должно быть?

— Извольте поглядеть, ежели не верите... Звания нет!

Смех прыгал и в глазах, и в голосе Шипова, и похоже было, что вот-вот он брызнет из него кипящим фонтаном и захватит всех присутствующих.

Бородатый Машлак, закурив цигарку и выпустив клуб дыма, который сразу закутал почти всю лавку, поспешил на выручку к замявшемуся сотнику и сказал успокоительно:

— Они при его лице служат, он их и так знает.

— И без списка! Верно!.. — радостно-благодарным голосом воскликнул Роман Ильич и сочувственно ткнул связкой кренделей в сторону находчивого Машлака: — Верно!..

Лохматая папаха его закивала торжествующим жестом, и черная танцующая тень от нее запрыгала к потолку.

— Это верно! Правильно! А вот вы, русские, также и хохлы, об вас без списка, того... и позабыть можно...

— Вы нас, стало быть, с хохлами ровняете? Это даже обидно!

Шипов небрежно-ловким жестом отбросил долговую книгу в ящик с подсолнухами и уперся кулаками в прилавок.

— Позвольте вам на это возразить из истории. Как в самой древней истории сказано, что русского вылепили из серой глины...

— Прочный материал! — заметил в скобках Ферапонт, сооружавший гигантских размеров цигарку.

— Из серой глины... А хохла — из пеклеванного теста.

— Хохол—дурак! — тоном безнадежного сожаления сказал сотник.

— Да... Так из пеклеванного теста его, — продолжал Шипов неторопливо, с манерами опытного повествователя: — Ну-те-сь, хорошо-с, из теста... И, стало быть, на этот случай прибегла собака... Прибегла к тому делу собака, сцапала хохла и проглотила. Проглотила — бежать! И сколько бежала — все хохлами...

При неожиданно звонкой рифме, созданной прямым словом, сотник затрясся от смеха, и живот его, как студень, долго еще колыхался даже после того, как дружный заливистый общий хохот других слушателей смолк и они ждали продолжения.

— На конец того дела вдарилась она об угол, и выскочил из ней хохол с плугом, — продолжал Шипов.

— И з волами? — спросил Попков, подражая малороссийскому выговору и давясь от смеха.

— И с волами. Вот отколь они все на волах-то ездят!..

И когда Шипов кончил забавную историю, в которой с несомненностью доказывались все генеалогические преимущества русских, то есть великороссов перед хохлами, — все смеялись долго, до усталости, сперва разом, а потом соблюдая некоторую очередь: кто-нибудь вспоминал отдельный эпизод, подсыпал крепкое замечаньице, остроту, и опять из лавки в насторожившуюся темноту выскакивал раскатистый залп прыгающих звуков и звонко разбегался в оба конца немой улицы.

Потом как-то разом смолкли. Сизыми клубами полез верх, к лампе, дымок. Крепкий запах табака сливался с запахом копченой шемайки и дразнил голодное воображение. Золотая полоска света из дверей протянулась через всю улицу и на противоположной стороне выхватила белый угол старой хатки до соломенной крыши, низкий плетень и вывеску с гигантской буквой "З", укрепленную над обвисшею калиткою. Светлый, разостлавшийся по земле квадрат похож был на кусок новой парчи. На нем яркими блестками играла и пряталась вода в углублениях и колеях растоптанной дороги и серели матово-шелковистыми узорами, отбрасывая тени, высокие безмолвно-грозные, разорванные борозды черной осенней грязи. А за гранями — направо и налево, дальше и выше — висела немая, неподвижная темь, охваченная сонным оцепенением. И кто-то оттуда осторожно крался, прислушивался, затаив дыхание, и глядел внимательными очами на тусклый огонек лампы.

— Это верно... хохлы — они мягкий народ, — сказал сотник, потрясая мохнатой папахой, — а вот вы, русские... у-у, дьяволы, сурьезные... да что за натуральная нация!..

Он поковырял клюшкой по серому наслеженному полу, вспоминая что-то из своего минувшего.

— Раз меня в Дубовке... ну так обидели, так обидели... Давно, лет пятьдесят прошло, а вспомню — и сейчас руки аж ченутся!

— Вы по этому случаю на всех русских и сердце имеете, ваше благородие? — почтительно заметил Ферапонт. — Дубовские, значит, виноваты, а мы, шацкие, отвечай!..

— Все вы одной бабки внуки! — Сотник энергично взмахнул связкой кренделей, и они опять звонко прогремели, сообщая коротким сердитым звуком особую убедительность его словам.

— А что главное — правильности нет! Норовят кучей на одного насесть, а не то, чтобы один на один... Мне не то обидно, что били... Бей, пес с тобой, но бей по закону! Я люблю, чтобы правильность была во всем...

Роман Ильич строго, вполуоборот, посмотрел на Ферапонта воинственным взглядом, ожидая возражений. Но Ферапонт не возразил, а, отвернувшись из вежливости, выпустил заряд дыма по направлению к улице и затем изобразил на своем лице самое почтительное внимание. Сотник провел костылем по темному грязному полу прямую линию, — жестикуляция часто опережала у него слово, — и голосом старой грусти начал:

— За досками мы ездили, значить. С фурами. Железных дорог тогда не было — на быках. Наклали фуры, — я, по грешности, в харчевню: выпью, думаю, на дорогу шкалик...

— Для дороги это вещь пользительная, — одобрительно заметил агент Попков.

— Ну, понятно! — с некоторой стремительностью присоединил свое мнение и Ферапонт.

— Да, не вредит, — согласился Роман Ильич: — ну... взошел. А их там, этого мужичья, руки не пробьешь! Галдят, у стойки сбились в кучу. А у меня воза стоят, некогда до смерти. И все-таки я — офицер, само собой... — Посторонитесь! — говорю. — "Чаво, посторонитесь? Ка-кой широкий! Сам посторонись!" — "Дайте дорогу, — говорю, — я офицер!" — "Мы из тебя не видим, офицер ты или нет, а за свои деньги в кабак каждый нароварить может". Ну, я в те времена помоложе был, на руку проворен. Ах, ты, думаю, мужицкая твоя морда! Развернул — черк одного в сопатку! Он назад себя... Подались. Я тут другого... Они к двери. Бе-жать?.. Стой, думаю, не уйдешь. Сердце во мне даже разгорелось, и зачал я их тут ссаживать — кого в едало, кого в пузо, кого в затылок... Мужичье!.. Только какой-то подлец — не знаю как — подкатился под ноги, я и выстелился через него. Ну, тут уж они все на меня... И пока наши от возов-то прибегли, они мне сыпнули!.. И будь бы у них понятие, ежели бы не все кучей лезли один на другого — каждому хотелось поскорей ударить, — то аминь бы тут мне был, ей-ей! А то они сбились надо мной, суют руками, а размахнуться негде, без толку все... Тем

и спасся! Кровь была, а так пятно чтобы где — ничего не было!..

Роман Ильич с победоносной улыбкой оглянулся на своих слушателей, и они каждый по-своему выразили свое радостное изумление. Шишов издал тонко-свистящее шипение: тссс... Маштак добродушно загнул многоэтажное слово по адресу несообразительных дубовских мужиков, а Попков коротко сказал: "Галманы!"

Ферапонт покрутил головой и затем осторожно, тоном извинения, заметил:

— Да ведь на своей стороне, понятное дело, там стены помогают... Тоже нашего брата тут у вас мало ли учат?

— И правильно! — сказал Маштак добродушно-грубым тоном. — Ваш брат тоже... вроде жида на нашей стороне... Придет, к примеру, в лаптях, в одних портках, глядишь — через месяц у него сапоги амбурского товару, триковый пиджак, штаны по журналу сшиты... А все плохо им! Сунься-ка мы к вам — вы утрете скоро! Вон их благородие — офицер, и то не постеснялись.

Маштак немножко издевался, подтравливал Романа Ильича. Старый сотник поддавался на этот прием и переходил от общих положений к натиску на самого смирного представителя великорусского племени. Ферапонт же был очень удобен для таких невинных потех. Но на этот раз сотник пошел стороной. Героические воспоминания разбудили в нем дух тщеславия, и он не без хвастовства воскликнул:

— Ну, я и сам в долгу не остался! Не-ет! Я тоже одному после того вложил... Чтобы он знал да помнил обед да полдник...

И рассмеялся очень довольным смехом:

— Дегтярь... Тоже из дубовских...

Он сделал продолжительную паузу, потупился, почертил клюшкой по полу, покрутил головой и снова рассмеялся, — видимо, забавное было воспоминание.

— От обедни иду... воскресенье как раз было. Народ, конечно. Шинель на мне с капюшоном. Николаевская, офицерская. Вот он идет: — "Дегтю! Дегтю!.." — "Стой! Ты отколь!" — "Дубовский, ваше благородие". — "Ты дубовский?!" — "Дубовский..." — Зараз я шинель с себя долой, повесил ее к Митрию Иванычу на ворота. — "Ты дубовский?!" Развернул, к-как дам ему сюда! Он брык с дороги! Картуз в сторону, виски кучерявые, как у старого барана. Вцепился я в них и начал водить... Водил-водил. — "Ваше благородие, помилуйте!" — "А-а, сукин сын! по-ми-луйте? А меня кто утюжил, такой разэтакий?" — "Впервые вижу вас, ваше благородие! Помилуйте! Кто другой разве, ну никак не я..." — "Не ты — так твой брат, не брат — так сват, не сват — так кум, одна категория!.." Опять вожу. Аж устал... Ну, выпустил. Как вскочит он на дроги — и понес! Как оглашенный... Лошадь справа-слева кнутом, марш-марш! Без шапки, без всего! Только и видал, как лошадь нахлестывает...

Роман Ильич затрясся от смеха и зашипел горлом. Порой он останавливался на мгновение и, задыхаясь, быстро выговаривал:

— Виски у него ... патлы-то... раскудлатились во-о как... я всеми десятью в них... Водил-водил... Ты дубовский, говорю...

Шишов, весь багровый, качался вперед и назад, кланяясь прилавку, и в глотке у него бурлил и клокотал водопад, а на ресницах блестели слезы. Маштак сыпал крупную, басистую трель, и было странно, что из его огромной бороды вылетает такой грохот рассыпчатых и проворно скачущих звуков. Попков беззвучно трясся тощим телом, и в такт подпрыгивающим плечам из носа его отрывисто и быстро вылетали один за другим маленькие клубочки табачного дыма. Ферапонт чихал, кашлял, крутил головой и повторял, держа двумя пальцами цигарку, как камертон, вровень с ухом:

— Кабы знать, не надо бы признаваться ему, что дубовский...

— С той поры, небось, не показывается в станицу? — отдохнув от смеха, спросил Шишов.

— Да вряд!.. А ежели и покажется: "Я — не дубовский", мол... — ответил за сотника Ферапонт.

— А ты, Ферапонт, не дубовский? — трясясь от смеха, спросил Попков.

— Не, не дубовский... — под общий смех отказался Ферапонт.

— То-то, гляди! — рассыпая свой крупный горох, проговорил Маштак, — а то их благородие... того... видишь, костыль какой?

— Нет, гляжу я, ты — дубовский? — задыхаясь от приступа смеха, едва выговорил Попков.

— Я — шацкий... Мы не виновны в их благородии...

— Ну, шацкие — ребята хватские: семеро одного не боятся, — благодушно заметил Роман Ильич. — Но тоже... у меня смотри в оба.

— Чтобы не выскочили из лоба! — подхватил Маштак. — А он, ваше благородие, все под нашу землю целится!..

— Да! Верно, верно! — подтвердил со слезами на глазах, весь багровый, Шишов. — К чему, говорит, офицерам участки? Они все равно, не работают ее, а я бы ее к делу произвел... Отобрать бы, говорит...

— О-то-брать? — Роман Ильич насупился и сделал свой воинственный полуоборот в сторону Ферапонта: — Вот, ка!

Три толстых пальца сложились в известную комбинацию и вместе с клюшкой устремились по направлению к Ферапонту.

— Ишь ты, умник! Пра-а, умник!.. Я заслужил, а ему отдай... Мужику? Это за какие же заслуги?..

— Шутят это они, ваше благородие, — оправдываясь, сказал Ферапонт, с некоторым опасением поглядывая на клюшку сотника. — Это вроде смеху у них...

— Ты что же это, я вижу, брехунами нас хочешь перед людьми поставить? — притворяясь обиженным, возразил Шишов. — Скажешь, небось, не говорил про землю?

Ферапонт смутился. Было дело, конечно. Но разве это всерьез? Это лишь мечты, это так себе, для разгулки времени. Ведь вот и сотник, например, толкует часто о царстве небесном, а кто же скажет, что он попадет туда? С таким животом в рай не пролезешь: ворота узки... Ну, и о земле тоже. Поговорили, и только... Много ли беды от этого?

— Я, брат, заслужил себе землю. Поди заслужи, и у тебя будет участок, — сказал Роман Ильич строго-наставительным тоном.

— Не те времена нынче, ваше благородие, — вздыхая, сказал Ферапонт. — Нынче войны стали сурьезные, хитрости большой надо. А тогда как служивали? Какое оружие было? За виски друг друга да под ножку — вот и вся война. А ныне поди-ка! Он тебя вон отколь цепляет... за сколько верстов!

— Н-ну... нет, брат, сурьезно дрались и тогда. Ты думаешь, я страху не видал? Еще как Господь вынес! Вспомнишь — мороз по коже... Офицерство-то недаром тоже досталось!

Опять прошлое с его героическими очертаниями всплыло перед глазами Романа Ильича и разбудило в нем задор неудержимого самопрославления. Он повесил на руку свою связку кренделей, придвинув ее к локтю, сложил ладони на изгибе клюшки и уперся на них животом. На толстом лице его появилось выражение торжественности.

— Через кобылу чуть не пропал, — сказал он, понизив голос, как бы по секрету. — Была кобылка у меня гнедая... иноходиая... через нее! Урядником еще тогда был. Ну, значить, не судьба пропасть. Даже офицерство получил. Произвели...

Он кивнул Ферапонту головой с наивным хвастовством: вот, мол, как! И засмеялся. Засмеялся и Ферапонт. В самом деле, было смешно, что эта толстая, сырая, медлительно-важная фигура в сером пальто и в шапке с красным, обшитым позументом верхом, простовато-смешная на вид, могла когда-то не только усидеть на лошади, но даже ограждала отечество, подвергалась опасности, совершала геройские подвиги...

— Сели мы, значить, обедать, — грузно вздыхая, продолжал сотник, — на биваке, разумеется. Наварили мяса, борщ в котлах, само собой... Сели. Ну, только за ложки — тревога! Бац-бац-бац-бац — из леску! У, будь ты трижды анафема! Сила-то его и не очень велика, видать: стрелять стреляет, а в атаковку опасается... Ну, что делать? Все к лошадям, понятное дело, котлы опрокинули, и по ложке проглотить не пришлось. Гляжу я: куски мяса в котле, да какие куски! во-о, жирные, с хрящиком, самая грудинка! А есть хочется — кожа трещит! Фу, думаю, зря пропадает такое добро... Скорым маршем сейчас кусков с пяток — в сакву: годятся! Перекинул сакву за седло — лишь вскочить успел: как понесет моя кобыла! Как пойдет чесать! Как пойдет! Сбесилась — и конечно дело! Пошла и пошла! Да ведь ка-ак? Пуля-пулей! Прямо на них, на венгерцев... Пропал! Читаю "Живый в помощи", пику уронил, шашку и выхватить не успел, обеими руками тяну поводья, шумлю, не помню чего... одно слово — пропадаю! Ветер зеленый в глазах, ничего не вижу... Чую только, что прямо с размаху в них влетел — как загомонят кругом! Голоса своего не слышу!.. Один секунт и — нет уж их... упустили! В сад ихний, значить, вылетел, — не успели схватить, — и пошел чесать дальше! И пошел! Пульки дзе над самым ухом — жик! жик! А я чешу!.. Ведь это рассказывать-то долго, а там — ну, не больше минуты было... просто и плюнуть бы не успел. Ну и кобыла, будь она неладна! Такой яд... Ракета, а не лошадь!..

— Ну, как же вы, ваше благородие, назад-то? — притворно-изумленным и немножко льстивым голосом спросил Ферапонт.

— Да приехал, и только. Обскакал верст пять — вот и опять на своих наткнулся. Не чаяли даже в живых видать, а я — вот он. — "Отколь, — командир говорит, — в тебе такая отчаянность, Евтюхин!" — "Не могу знать, ваше высокоблагородие..." А сам уж после додул, что кобылу-то свою мясом я прижег, — с того и сбесилась... Ну, Господь... Никто, как Господь...

— Значить, быть живому, — солидно заметил Маштак.

— Да, значить, не помереть, — заключил и Ферапонт.

— А ты все говоришь: за что господам земли много? — с оттенком упрека сказал ему Роман Ильич: — За что им земля? Вот поди-ка, дослужи... Ты страху не видал? А-а, то-то! А я его знавал... да...

— Посади его на эту кобылу... — весело скаля зубы, сказал Попков, и опять клубочки дыма стали выпрыгивать из его носа один за другим.

— Упал бы! Ей-Богу, упал бы!— подхватил Шишов тонким голосом, и долго сдерживаемый смех прорвался у него свистящим потоком.

— Упал бы!— с уверенностью сказал Роман Ильич, и живот его опять задрожал, как студень.

Ферапонт хотел возразить, но воздержался, ничего не сказал.

— Так-то, друг! — постукивая костылем, сказал сотник. — Господская земля — она потом-кровью досталась. Кровью взята, кровью и отдается. А так, чтобы зря получить, не на-дей-ся! На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай — да свой затевай!

Ферапонт, начиная чувствовать себя действительно человеком без всяких заслуг и потому виноватым, проговорил смиренным тоном:

— Да я и то... Я на вольные земли все думаю. В Сибирь... Вот весны дождусь. Весна вскроется, уеду!

И он внимательно занялся новой цигаркой. Роман Ильич посмотрел на него опять вполуоборот, но не воинственно, а просто удивленно, с усилием туго соображающего человека, потом сказал:

— Куда-а тебе... с детьми!

— С детьми и идтить, — уверенно, сквозь стиснутые зубы, не выпуская цигарки, сказал Ферапонт. — У меня четверо. А там по пятнадцати десятин на душу...

— Это что же? Да ты чистый помещик будешь! — с деланным испугом воскликнул Шишов.

— Очень просто! Пять душ нас, например, — участочек добрый!

Ферапонт давно грезил вольными землями. Но все как-то так выходило, что он оставался в станице, жил в саманной избушке, мерз, голодал, перебивался кое-как и в осенние вечера, если не было работы, приходил в лавку, чтобы утешиться хоть бесплатным табачком.

— У попов восемь коров, у дьякона девята.. закуривай, ребята! — уныло шутил он перед каждой цигаркой и уходил из лавки последним.

Несмотря на то, что он был специалистом по многим отраслям ремесленного знания, — летом рабатывал на кирпичном заводе, осенью портняжил, зимой валял валенки, — заработок его был неизменно скуден и, главное, грешил почти таким же непостоянством, как военная удача. Бывали дни, когда вся семья Ферапонта существовала лишь на ту добычу, которую приносила из церкви его теща: старуха становилась на паперти, и если у кого-нибудь в станице случались поминки, то перепадало кое-что и на долю фамилии Тюриных. И в иные счастливые дни на столе у Ферапонта появлялись даже остатки лапши и сладкого пирога с черникой, куски студня, блинцы, а то и пять-шесть леденцов-монпасье. Не часто, конечно, это бывало, но бывало. Старуха обладала и умением выпросить, и — при случае — даже проворством рук. Золотая была старуха!

Но эта подсобная статья слишком явно отзывалась капризною случайностью и непрочностью, подобно зыбкому мостику из старой ольховой жерди, переброшенному через речку Прорву. Мечты о лучшей жизни, самостоятельной, прочно независимой, с запасцем, с большой уверенностью в завтрашний день, постоянно носились перед Ферапонтом в образе земли. Хотя он и не был коренным землевладельцем — с детства он переходил от одного ремесла к другому — мысль о земле не оставляла его в покое. Земля являлась в его воображении в чудесном образе волшебной скатерти-самобранки, которая по одному хотенью да по щучьему веленью представляет в минуту все: и хлеб, и вино, и слей, и гамбургские сапоги, и лапшу с курицей, и кашемировый платок Лукерье, и собственный самовар, и валенки ребятишкам. Когда далеко в стороне — не на Дону — проходила полоса забастовочного и аграрного движения, Ферапонт жадно прислушивался к его отголоскам, долетавшим и сюда, в степной уголок, и смутно надеялся, что подошло, в самом деле, время, когда мечты его о землице, наконец, облекутся в плоть. Что ж тут невозможного? Много ли, в самом деле, ему и надо-то. Хоть бы половину супротив казаков... Одно время он готовил лепешки, собираясь вместе с компанией других голодных мечтателей сделать "забастовку", то есть погром на новой мельнице Вебера, — муки уж очень надо было. Но предприятие так и не вышло из области предположений, потому что не нашлось студента, который был необходим, по общему мнению, для руководства. Пришлось утешать себя лишь слухами о нарезке...

Потом и слухи эти куда-то вдруг схлынули так же быстро, как быстро они поднялись на гребень взбудораженной народной жизни. И все опять вернулось к тому, как было. Уныло потянулась серая полоса дней, полных нужды и случайностей. А беспокойная мечта о лучшей жизни, более основательной и сытой, все-таки копошилась, как червь, в смирной голове и металась от одного фантастического плана к другому. Все они основаны были на непреложных фактах действительности, но все походили на чудесный, легкий сон...

Вон Тараска Вершкин принес из полка большие деньги. Всего четыре месяца послужил — и семьсот! Говорит: в карты выиграл. Врет, должно быть? Обворовал или ограбил кого-нибудь. Но что же невозможного и в картах? Можно выиграть! Бывает, фортунит человеку... И тотчас же пылкая фантазия начинала рисовать Ферапонту, как он сел играть в карты с этим самым Тараской и обыграл его: взял эти семьсот; затем купил у Барабона хату о двух теплых за 230, покрыл ее железом и над воротами воздвиг вывеску под изображенным на ней коричневым сюртуком: "Мастер Ферапонт Степаныч Тюрин". Два подмастерья у него, сам третий. Машина стучит, весело лязгают ножницы, шипит по смоченной материи утюг, песня выбегает на улицу:

Во слободке молода вдова живет...

Чем не жизнь? Если обыграть Тараску... Жаль, сесть не с чем, а то бы обыграл, — плевое дело! Обыграть ничего не стоит...

А то, вот, совсем в руках был случай... Года два назад кучер Кочеток вытащил у Романа Ильича чулок с золотыми. Вытащил и зарыл в песок на косе. Но когда, отсидевши в остроге свой год и четыре месяца, он пришел опять на косу, то никак не мог разыскать место, где зарывал деньги. Покопался, покопался в песке и ушел с пустыми руками. А девчата нынешней весной купались и

напали на эти самые червонцы сотника. Тоже хорошо поджились. А ведь он, Ферапонт, сколько раз на этом самом месте стоял и даже сидел. Если бы знать... Ну, да подойдет и его полоса. Почему-то он уверен, что непременно найдет чулок с золотыми. Ну, чулок не чулок — кубышку. Попадаются также старинные горшки с серебряными рублями, с крестовиками. Надо лишь знать, где покопаться. Ефим Широкий говорит, что в курганах этого добра — сделай одолжение! А он знает, у него есть книга "Черной и белой магии". Что ж, копать мы можем, это дело наших рук...

Хорошо еще, если под год хлеба засеять побольше. Только угадать, какой хлеб в цене будет. Вот сейчас пшено до двух рублей дошло. Ежели, скажем, десятин шесть-семь заметать, да ежели вокруг Троицы пройдет добрый дождь, то по сто мер считай на десятину! Шестьсот-семьсот мер, на пуды это близко к тысяче... Ведь это куча денег! И каши — ешь — не хочу!.. Беспременно надо посеять побольше проса. Эх, если бы земля!..

Раз в казенной винной лавке Ферапонт увидел на стекле большой лист с двуглавым орлом.

— Что за афишка? — полюбопытствовал он.

Сидельцы прочитали ему: говорилось там о вольных землях в Сибири. До этого Ферапонт думал, что удобнее переселить на вольные земли господ: их поменьше, и они как будто не так семьянисты, как мужики. Но господа, по-видимому, упираются против переселения. А глупы: про вольную Сибирь так хорошо расписано в афишке под двухглавым орлом. Ферапонт махнул рукой и произнес:

— Уважу... переселюсь сам...

— Вон Спиря поехал новых местов искать да жену там похоронил... назад идет, — сказал сотник предостерегающим тоном.

— Ну, у меня баба корпусная, не скоро помрет, — с уверенностью отвечал Ферапонт.

Он не врал. Лукерья была почти вдвое выше его и кость имела широкую, богатырскую. Ферапонт и она казались мало подходящей парой друг для друга, но сложились так обстоятельства, что безродный Ферапонт был удостоен вниманием Лукерьи и вошел в саманную хату Гугнихи законным зятем. Не раз, правда, на первых порах ему приходилось слышать соболезнующие разговоры соседок с Лукерьей:

— И плохонького мужишку ты нашла себе, Луша!

На это Лукерья трезво-практическим тоном отвечала:

— Ничего. Лишь бы шапка на голове была... Хорошего-то возьми, а он все пропьет да в орла проиграет. Вон у Колобродихи одни стены остались. А казак-то какой: из-под ручки поглядеть!..

Ферапонт был мужем, удобным во многих отношениях. Угловатая, смуглая до закоптелости Лукерья, с крупными чертами рябого лица, не рождена была пленять сердца и сама была глубоко равнодушна по части нежных чувств. Но нужда полуголодного существования еще до замужества заставила ее стать жрицей богини любви. Выйдя за Ферапонта, она тоже не стеснялась в способах заработка. Тело ее, большое и мягкое, находило своеобразных любителей красоты этого сорта. Раз в неделю приглашал ее мыть полы в своем доме вдовый батюшка о. Никандр, и каждый раз Лукерья уходила от него с лишним двугривенничком против условленного пятиалтынного да с десятком белых мятных пряников. Заходили иногда подгулявшие казаки, приезжие хуторяне, с своей водкой и закуской. Ферапонт очень охотно угощался с ними, быстро хмелел и смирно засыпал за столом, предварительно извинившись перед всеми собеседниками за то, что скоро ослаб. А гости после этого поочередно разделяли в чулане его супружеское ложе. И после нескольких таких визитов Лукерья могла пойти в лавку к краснорядцам Скесовым и купить своим ребятишкам по рубахе. Заветной мечтой ее было собрать рубля четыре и начать тайную торговлю водкой, хорошие барыши можно было бы выручать... Но это тоже оставалось лишь мечтой.

— Сторона холодная — Сибирь, ребятенок поморозишь! — сказал опять Роман Ильич, и похоже было, что хотел он остановить Ферапонта, как будто жаль было ему потерять обычного собеседника, такого удобного и безобидного: над ним и смейся, сколько хочешь, его и выругать свободно, и нравоучение сделать можно...

Ферапонт выпустил заряд дыму по направлению к улице и равнодушно-спокойным тоном сказал:

— Ничего. Тут скорей кабы не замерзнуть. Тоже нажитки-то не первой гильдии.

— А чем плохо? Ведь живешь? Кормишься? Еще детей какую кучу развел!

— Кормлюсь. Два дня не евши, третий так...

— Пехай едет! Нам просторней будет, — сказал Маштак, и Ферапонту показалось, что в насмешливо-суровом голосе его звучит все-таки досада и сожаление о том, что он, Ферапонт, решил покинуть станицу.

— А я тебя чем стеснил?

— Да маячишь тут, в глазах... Шел бы в свою Рассею, в город Шацкий...

— Шацкие — ребята хвацкие... — засмеялся сотник, крутя головой.

— Кабы у меня земля там была, — возразил Ферапонт печально.

— Земля, земля!.. Чего ты из ней будешь кроить? Ты судишь о земле, как портной, безо всякого понятия. Это надо соображать, что такое, например, обозначает земля! Есть ее не будешь, землю...

Ферапонт немножко оробел перед сердитым натиском Маштака и слабо возразил:

— Есть... едят, что ль, ее?

— То-то я и говорю! К земле надо большое приложение иметь. Нужна скотина — раз; плуг, борона, коса — два; а там — каток, веялка, арба да бичева, да сбруя — три... К земле, брат, много надо. Голыми руками ее не всковыряешь! Прикинь-ка на счетах, как это обойдется?

— А без земли? Ну-ка, ты поди без земли-то пощеголяй!

— И даже с удовольствием. В стражники уйду. Месяц прошел — подай полсотни! А там, глядишь, какой двугривенный и набежит... А в моей земле какой толк? Солнце, глина, выпашь. Ржавь одна. В людях хлеб, а у меня хлебишко. Ворочаешь-ворочаешь горбом, и нет ни черта ничего! Вот по пятнадцати мер с десятинки взял — все тут; и на семена, и на емена. А ты что? У тебя деньги горячие: поковырял, скажем, иглой — вот она, полтина, дай сюда...

— Да, я наковырял, — горько усмехнулся Ферапонт. — Была машина, есть нечего, понес в пост к Хритону в заклад. Машина полусотку стоила — вот и Нестор Васильевич скажет как агент — а он: "Возьми пятнадцать". Человеку, что ж, случай... что ж не поджиться! Я так-сяк, — "Сделай милость, Хритон Савельич, ай у тебя человеческой совести нет?" — "Не хочешь, — говорит, — не надо. Я силой не вынуждаю". А мучицы нет, ребятенки кусок просят. Взял пятнадцать. К Троице отдать — две красных, а ежели к Петрову дню — четвертной билет. "Расписку, — говорит, — не надо: я на совесть..." В покос кое-как наскребли с Лукерьей четвертную. Понес десятого числа, июля, на Положение Честные Ризы: "Нет, — говорит, — говорено было к Петрову дню четвертной, а сейчас давай три красных". Просил-просил, молил-молил его — никак! Так и теперь у него... дешево досталась машинка человеку... Вот тут и зарабатывай полтины!..

— Горячие деньги! — горько-ироническим тоном повторил Ферапонт после паузы. — Оне горячо и идут, горячие деньги. Глядишь: рубах нет... Рубахи взял — хлеба! Хлеба взял — дров! Так оно и идет: вертишься всю жизнь, как черт в рукомойнике...

— Неужели у тебя залогу нет про черный день? — удивился сотник, и в голосе его слышался снисходительный упрек сытого человека голодному за то, что он голоден.

— Откель же ему быть, залогу, ваше благородие? — сказал Ферапонт, деликатно улыбаясь над наивностью вопроса. — Ведь их у меня, ртов-то, вон сколько! Одни родятся, другие помирают, а все на него расход. Уж рубля три, меньше не обойдется, когда родится: первым долгом — бабке, второе — за крестины, того-сего... А умрет — тоже за все заплати. Малому что? У него всего много, всем доволен... всем достоинством: и богат, и ни об чем голову не ломает...

— А в Сибири, думаешь, дешевле за это берут?

— Надобности нет. Там есть из чего. Там первым долгом, по приезду, дают две сотенных за хату да три сотенных на обзаведение.

— Ну-ну?

— Ей-бо!.. У меня там дядя родной.

Ферапонт соврал про дядю, но так как он слышал эти фантастические цифры от другого такого же, как сам, мечтателя, у которого в Сибири, будто бы, действительно был дядя, то он теперь на время присвоил себе этого дядю для большей убедительности.

— Это хорошо, — сказал Роман Ильич с некоторым сомнением в голосе.

— Куды лучше! — согласился Ферапонт.

— На пятьсот можно даже очень порядочное дело развить не то в Сибири, а и у нас, — заметил Шишов.

— Первым долгом построю хату... — вдохновенно заговорил Ферапонт, опуская глаза на огонек цигарки, отчего лицо его стало серьезно-соображающим. — Лес там дешевый, сделай милость — стройся! Ни по чем лес!

— Протяжной или круглый думаешь? — осведомился Маштак.

Нельзя было угадать, смеется он или всерьез любопытствует: заросшее бородой лицо его всегда было немножко зверообразно, и мудрено было распознать на нем шутку.

— Не обожаю я протяжных домов — топка большая требуется. Скруглим. Три теплых с колидором, в колидор тальянское окно сделаю. Людей мне не просить, плотничать я и сам могу, тоже топор из рук не вырвется... И из пятисот выгадать можно... Ведь земли-то — область...

Ферапонт сделал широкий жест цигаркой.

— На пять душ дадут: на четырех ребят да на самого, бабы в счет не идут. По пятнадцать десятин! Это... это... Прикинь, Федот Иваныч, на счетах, сколько это выйдет? Семьдесят пять?

Ферапонт давно в точности высчитал, что семьдесят пять, но хотелось, чтобы и другие воочию убедились, что именно семьдесят пять, никак не меньше. И Федот Иваныч сразу узнал, что семьдесят пять, но с небрежною ловкостью привыкшего высчитывать человека щелкнул раз-другой на счетах и сказал:

— Семьдесят пять.

— Д-да... это цифра! — сказал Маштак почтительным тоном.

— Цифра! — с восхищением повторил Ферапонт. — Прямо — область! Семьдесят пять... это ленточка добрая выйдет... пожалуй, раза три станицу покроет? Хороша будет полоска!.. Я к реке буду прибиваться ближе — там рыбные реки. В случае чего — ну-ка, ребята, бредень! К обеду чтобы свежая рыба была! Без варева чтобы и домой не показываться!.. Там ведь рыба-то: чебаки во-о!..

Ферапонт отмерил на левой руке до самого плеча и посмотрел на всех победоносным взглядом.

— Фу ты, чтоб его болячка! В самом деле, житье хорошее! — сказал Шишов восхищенным

тоном. — Насчет рыболовства и я охотник... в самом деле.

— Что ж, приезжай! Удочки захвати!

Ферапонт выпустил клуб дыма, заливисто рассмеявшись своей шутке, и восклицание Шишова решительно утвердило его в мысли, что земля его непременно должна примкнуть к реке.

— Ну, хорошо, — сказал Попков с придирчиво-критикующим видом, и чувствовалось, что ему как будто досадно будущее благополучие Ферапонта, в которое все, по-видимому, начинали верить. — Хорошо... А обзаведение?

— Чего обзаведение?

— Ну, вот, например, плуг, бороны, арба... Ведь на круглый дом пятьсот их обязательно уложишь. Это уж как ни верти! А лошадей, например, откуда!

— Лошадей? — Ферапонт на мгновение обнаружил как будто колебание, но затем решительно сказал: — Да, лошадей надо. Добрых лошадей. Плохих лошадей я не обожаю. Что оне! Как она шкапа, так шкапа и есть. Ну, на первых порах найму спахать десятин шестнадцать, все, глядишь, из урожая выручу что-нибудь. Опять же шитво: за зиму сотенную возьму! Там работы — не как у нас, там хорошие работы, а мастерового народу мало. Это не штука!

Он уверенным жестом сдвинул цигарку в угол рта, и всем показалось на минутку, что он стал и выше ростом, и внушительнее.

— Нам лишь бы земля, — прибавил он самоуверенно, — а там мы ее разделаем, уйди — вырвусь!..

Помолчали. Были, конечно, основания и для сомнений, но Ферапонт подавил всех необычно самоуверенным тоном и своим дядей, а потому никто не решился оспаривать его, никому не приходило в голову и обычного желания подсмеяться над необузданными мечтаниями. Только Попков спросил как будто не без подковырки:

— Ну-с, за чем же дело?

— Питок не дают. Питок такой требуется. Выправит питок — и кончено дело! За дорогу четвертную копейку теперь берут. Только бумага требуется, без бумаги не дадут.

— Хлопочи.

— Хлопотал... К генералу ходил. Говорит, повременить надо. Предписание, говорит, будет на это. А пока повремени, зря не беспокой, нечего... — Через это самое, говорю, ваше превосходительство, и беспокойство наше к вашей милости, что мучицы нет, ребятенки кусок просят... незавидное больно житье наше... — Ну, потерпи, чего там! Все сделают по высочайшему указу. — Что же, потерпеть можно. Это в наших руках. Делать нечего, повременим. Сорок два года временил, а уж еще год — куда ни шло! Пускай для круглости будет сорок три...

Он вздохнул и глухо прибавил:

— Одно вот — года проходят...

Грустная нота прозвучала в его уверенном тоне. И опять он стал маленьким и смешным мужичком, над которым удобно было потешиться. Только никому не было охоты. Как будто тень прошла по лицам. Видно, ни у кого года не стояли на месте, уходили, а призрак счастья, который когда-то, может быть, дразнил воображение, теперь потускнел и ушел еще дальше. Уходили года, незаметные, однообразные, тусклые, и не на что было с удовольствием оглянуться, ничего отрадного не видать и впереди. Все досадно обычное, безнадежно скучное и неизбежное: старость с нуждой, хворости и страх беспомощной заброшенности и ненужности.

Даже Роман Ильич, благополучный, казалось бы, старик, вздохнул протяжно и шумно. Покряхтывая, он тяжело поднялся с коробка, на котором сидел, и сказал:

— Идтить, а то поздно будет. Старуха заложится, не впустит.

Шишов из вежливости сделал попытку остановить его:

— Что вы, Роман Ильич, восемь часов только!

— Нет, поздно. Пока повечеряешь, пока Богу помолишься. Я ведь две кафизмы на ночь читаю, — прибавил сотник тоном наивного хвастовства, которым иногда грешат благочестивые люди.

— Это пользительная вещь, — одобрительно сказал Шишов.

— Две. Всегда уж у меня положено. Иной раз ночью проснешься, бессонница, — встанешь, еще одну прочтешь... Ночь-то — год!

— С этой поры ежли залечь, не то за год — за два покажется!

— Да старуха, боюсь, браниться будет: вечерять ведь ждет... Время. Колун, небось, из печи уж вынула...

Широко отставляя костыль и греня кренделями, сотник двинулся из лавки, но на пороге остановился.

— Ну, и колуны ноне Бог послал, да что-о за сладкие! — воскликнул он восхищенным голосом. — Просто мед да и только! Живот аж болит, до чего сладкие! К ночи просто до того распирает, беда! Станешь Богу молиться и... просто неловко даже за молитвой — то... Старуха — и то говорит вчера (она у меня сурьезная): "Ты, старик, выйди раньше в чулан, постой там, тогда уж и Богу помолишься".

Роман Ильич благодушно заколыхал животом, глядя, как его собеседники при последних словах покатились со смеху. Поощренный дружным взрывом их веселья, он выждал, пока они посмеялись, и прибавил:

— Ну, выйдешь, постоишь — будто ничего... Долго-то стоять холодно. Вернешься, станешь перед образами и опять, глядишь, та же история... Просто грех один! Хе-хе...

И под общий заливистый смех Роман Ильич, кряхтя и посмеиваясь, вышел из прилавок, широ-

ко расставляя ноги, далеко впереди себя нащупывая костылем коварно-узкие, мокрые, загрязненные ступени крыльца. Постоял с минуту в раздумье, потом решительно шагнул в темную пучину, которая за рубежом света казалась бездонной, и тотчас же, поскользнувшись, мягко, почти беззвучно съехал вниз. Успел лишь крякнуть и произнести:

— Так и есть!

Было невысоко, и эта короткая поездка не сопровождалась каким-либо неблагополучием. И в то время, как Попков, Федот Иваныч и Маштак, не удержавшись на должной высоте благоприличия, залились беззвучным смехом, Ферапонт услужливо поспешил на помощь и льстиво, хотя без толку, суетясь вокруг сотника, говорил тоном настоящего придворного:

— Позвольте руку, вашебродь... Измарались? Это не беда, ничего. Это не сало: помял — оно отстало... Так говорится. Дозвольте, я вас проведу, вашбродь, а то тут грязно... Глазами-то вы уже, никак, обнищали?

— Да, притупился. Спасибо, брат. Ну, доведи...

Ферапонт, деликатно поддерживая сотника за рукав, шагал медленно, с паузами и всеми силами старался показать возможную предусмотрительность и осторожность. Прежде чем шагнуть, он долго прицеливался, вытягивал шею, разглядывал, потом делал широкий шаг с припрыжкой, удачный, как ему казалось, но, тем не менее, каждый раз угождавший в жидкое место. Сотник тяжело шлепал вслед за ним своими глубокими кожаными калошами, придерживаясь иногда за его плечо и тыкая клюшкой в стены сараев, около которых они держались.

Усердие Ферапонта нравилось сотнику, даже трогало его. И как будто жалковато стало, что вот этот смирненький, маленький мужичок вдруг соберет свои жалкие пожитки и бросит станицу ради каких-то неведомых вольных земель. К чему они ему? Жил бы на месте. Ведь издали когда-то и станица казалась ему вольным краем, а вот обманули же ожидания. Однако хотя сыт тут он и не был, но и с голоду люди не дадут умереть. А там неизвестно еще что ждет его.

И мягко упрекающим тоном Роман Ильич сказал:

— А напрасно ты, Ферапонт, на эти вольные земли вздумал. Ведь ты подумай: Си-бирь!

— Нам и тут Сибирь, ваше благородие, — смиренным тоном сказал Ферапонт.

Мудрено было возразить на это — утверждение Ферапонта имело за собой достаточно оснований, и Роман Ильич сочувственным тоном посоветовал:

— А ты Богу молись! Вот и будет хорошо...

Ферапонт вздрогнул. Помолчал. Потом сказал:

— Мучицы вот надоть — вся вышла и взять не на что. Ребятенки кусок просят. Пометался к тому, к другому занять — не выпросишь. Под работу и то не дают...

Роман Ильич подумал, не делает ли Ферапонт подхода к его запасам — у него была ветряная мельница, и так как тоже не любил давать в долг, предпочитая наличные, то сухим тоном сказал:

— Под работу! Под работу дай, да ищи тогда тебя... А за твою работу я тебя и сейчас ругаю: уузил ты мне штаны-то!..

— Да ведь по журналу, ваше благородие

— По журналу! Мне не журнал требуется, а просторная форма! А то я их чуть не с мылом на себя натягиваю. Какая же это правильность в работе?

— Да ведь я, ваше благородие, не знал, что вы попросторнее обожаете, — слабо оправдывался Ферапонт, — ей-бо... не знал... Как вы у нас офицер, а не то чтобы наш брат чернобородье, то я взял журнал у Лексея Лександрыча... По этому самому...

Насчет журнала Ферапонт слегка приврнул. В действительности он просто употребил часть материала на картуз своим ребятишкам. Журнал был привлечен просто для выручки

Они свернули за угол. Когда после нескольких обдуманно рискованных прыжков они достигли ворот сотникова дома, Роман Ильич сказал:

— Ну, брат, спаси Христос, молодец..

У Ферапонта была тайная надежда, что вслед за этой похвалой сотник скажет что-нибудь и насчет муки, но он о муке ничего не сказал. Прибавил только равнодушно-снисходительным тоном:

— Прощай, брат.

Ферапонт почтительно сдернул картуз и, кланяясь в спину сотнику, ответил:

— Счастливо оставаться, ваше благородие.

Калитка захлопнулась. Он надел картуз, но, продолжая стоять перед высокими воротами, прибавил:

— Покойной вам ночи, ваше благородие.

Все еще ждал, не раздастся ли хоть из-за калитки голос сотника: "Зайди, мол, завтра... посоветуемся со старухой, может, отвесим с полпудика"... Но голос не раздался. Только слышно было, как сотник, кряхтя и стуча калошами, взошел на крылец, загремел щеколдой и потом, захлопнув дверь, стукнул изнутри задвижкой.

Вот он теперь сядет вечерять, подумал Ферапонт с некоторой завистью и представил себе, как толстая старуха, жена сотника, — она у него уже третья, двух изжил, — подаст на стол сперва мягкий белый пшеничный хлеб, а сотник будет резать его на куски, произнесши предварительно: "Господи Исусе Христе"... Потом в белой миске с синими разводами появятся дымящиеся щи. Ферапонт явственно почувствовал соблазнительный запах от щей, от рыбы-малосолу, поджаренной в подсолнечном масле, и легкая судорога пробежала у него в левой стороне живота, а рот наполнился влагой... Потом кулеш, сладкий, как мед... А поужинавши Роман Ильич станет кафизмы читать, громко икая, позевывая и благочестиво крестя рот... Хорошо читать кафизмы, наевшись и почесывая просторный живот...

Да, если бы у него, у Ферапонта был такой почтенный живот, как у сотника, и он читал бы на сон грядущий кафизмы. Научился бы! Что ж тут мудреного? Что невозможного? Разве не мог бы он, например, быть мельником?.. Ах, разлюбезное дело мельницу иметь. Только он предпочел бы ветряке водяную — небольшую, но водяную. Приятнее. Узенькая такая речка вроде Прорвы с зацветшей, покрытой плесенью водой, а над речкой вишневые сады и сизые задумчивые вербы слушают, как солнце ловит брызги, зеленые, как осколки бутылки. Хорошо!.. А рыба-то, рыба-то как играет на заре!.. Воза стоят, помолу дожидаются. Люди суетятся вокруг них с набеленными мукой лицами. И у него, у Ферапонта, большой живот и такой же внушительно-важный вид, как у Романа Ильича; перед ним все почтительно ломают шапки, проникаясь уважением к его животу и карману.

— Молись Богу, и все будет хорошо!.. — наставительно скажет он какому-нибудь смирному, бедному человечку, который будет просить у него в долг муки и поропщет на свою бедность.

А сколько народу будет у него и на него работать! Он засмеялся от удовольствия. Представил себе, как он будет везти с покоса рабочих на длинной фурманке, а они, свесивши ноги, скрестив на груди усталые руки, отчего покатые плечи их дугообразно согнутся, будут петь песни, довольные тем, что он обещал им по стакану водки. И следует: они махали косами, пока не потухла заря, и кончили-таки весь загон. Играй, ребята! Молодцы! Заслужили... Будет мерной поступью шагать, пофыркивать крупный буланый мерин. Серебристое море хлебов матовым блеском будет струиться под месяцем. Ласковый ветерок радостно вздохнет в лицо медовым запахом скошенной травы. И песня, долгими мерными вздохами вылетая из усталых грудей, будет плыть в загадочную даль, затканную тонкой дымкой серебристого тумана, и там замрет со сладким трепетом грусти...

И вереницы картин — одна другой богаче и соблазнительнее — плыли в темноте осенней ночи перед Ферапонтом. Улыбка сморщила длинными складками его смешное лицо с лохматыми бровями и серьезной бородой. Беспокойно-сладкое чувство нетерпения направило его шаги не домой, а к лавке Федота Иваныча: хотелось еще помечтать вслух о вольных землях и выкурить цигарку. Когда медлительные клубы дыма обволакивают окружающую действительность, мечтается особенно приятно, гладко и все кажется близким и возможным.

Но нет уже светлой полоски через улицу. Шишов, значит, закрыл лавку, чтобы не жечь зря керосину. Попков и Маштак, громогласно позевавши и посмеявшись над сотником, ушли домой. И кругом темно, немо, мертво-неподвижно. Чуть вырисовываются черные силуэты ближайших хаток, угадывается за ними линия сараев, а дальше — и впереди, и сзади — тесный, черный вал, непроницаемым кольцом охвативший сонный мир. И сколько ни шагай вперед, не выйдешь из этого заколдованного, созданного мраком кольца...

Журнал "Русское богатство",
№ 11, ноябрь 1908 г.

Евгений Красовский

ДУХОБОРСТВО

* * *

Без суеты, назойливого слова
и демонстраций надоевших без,
без умысла, особенно без злого,
чтоб не сказать потом — попутал бес,
без предисловий в форме покаянья,
без перечня накопленных обид,
без возведенья мелочей в деянья —
их охватить бессилен алфавит, —
без всяких там программ и установок
и, наконец, без плана, черт возьми! —
давай возьмемся за руки и снова
пойдем сквозь жизнь, чтоб душу не казнить
раскаяньем, пустым и запоздалым:
в символике, поверь мне, толку мало,
знамением двуперстным иль трехпалым
лоб осенять — нам спорить не пристало,
нас перед Богом не разъединить!
В прощенье Мир связующая нить!

НЕОСОНЕТ № 3

(из "Венца неосонетов")

Страшней утраты веры нет потери.
Что перед нею всех затмений мрак?
Безверье ослепляет, и — сам-враг,
Ты святотатству открываешь двери.

Дверь настежь, а в дому все меркнет свет.
У входа голоса... Вот-вот войдут... Но прежде
Там ждут, чтобы за Верой вслед
Покинули твой щит Любовь, за ней Надежда.

Теперь твой дом — не твой. И бесполезен щит.
Оставила его священная триада
И вот уже дверной проем трещит,
И ломятся в него исчадья ада...

Что ж ты не рвешься помешать вторженью?
Какая по душе пронилась метла?
Пуста душа — все выжжено дотла:
Ни гнева, ни обиды униженья.

Что бродишь, как потерянный? Уйди!
Потерянным не место впереди.

ЧЕЛОВЕК

Терзаясь
в абсолютной тишине
тоской по звуку,
терзаясь
в оглушительном громе века
тоской по тишине,
ищу золотой середины.
Изобретая
редукторы и реостаты
для механизмов,
разрабатывая
био- и химпрепараты,
регулирующие баланс
между ростом и развитием
для животных и растений,
не нахожу середины в себе.

Кто завязал меня
жутким узлом противоречий,
дал нелепое имя — ч е л о в е к ,
заставив при этом
до исступления думать над тем,
как научиться
писать свое имя
с заглавной буквы?

МОМЕНТ ИСТИНЫ

"Умом Россию не понять..."

Ф.Тютчев.

"Русское национальное достоинство —
тоже общечеловеческая ценность"

Из подслушанного спора.

Окрепнет, станет на ноги страна,
А вместе с нею голос мой окрепнет
Пройдет по свежей пашне борона,
Отстанут злые оводы и слепни.

Взойдет посев надежды и густой,
И новой жизни злак заколосится...

Мне говорят: ты не спеши, постой,
На ниве той успеет кровь пролиться

Ну, что ж, друзья! Да разве нам впервой —
Как ни впадает в ужас заграница —
Оплачивать немыслимой ценой
То, что иным вовеки не приснится?!

— Я русский! Русский! — так гудит набат
По городам и весям, по станицам

Чем чаще говорят: "Да он горбат",
Чем тяжелей истории арба,
Чем гуще и грознее звездопад —
Спокойнее у шлемоносцев лица.

Анатолий Иванов (Скуратов)

Роковой день России*

(9 января 1905 года)

В своих мемуарах Витте пропел настоящий гимн тогдашнему министру внутренних дел Святополк-Мирскому: "Мирский представлял и ныне представляет человека выдающегося по своей нравственной чистоте. Это человек совершенно кристально чистый, безукоризненный, честный, человек высоких принципов, редкой души человек и очень культурный генерал Генерального штаба"*. Гимн этот пропет неспроста и недаром, а по известному принципу "кукушки и петуха". Как известно из воспоминаний жены Мирского, ее супруг все время просился в отставку с поста министра внутренних дел и предлагал взамен себя Витте, а Николай II отвергал эту кандидатуру по следующим мотивам: "Я бы его сейчас же назначил, если бы был уверен, что он не масон". Мирский уверял Николая II, что ничего подобного **.

Именно Мирский был главным руководителем всех мероприятий, проводившихся правительством накануне 9 января. Под его председательством днем 8 января состоялось совещание, в котором приняли участие: министр финансов В. Н. Коковцов, министр юстиции Н. В. Муравьев, товарищ министра финансов В. И. Тимирязев, товарищ министра внутренних дел, командующий корпусом жандармов генерал К. Н. Рыдзевский, градоначальник Фуллон и Лопухин***. С. Семанов добавляет к этому списку командующего гвардейским корпусом генерал-адъютанта князя С. И. Васильчикова ****. Витте по просьбе Коковцова не пригласили *****.

Мирский доложил, что "благодаря особой дислокации войск никакие шествия рабочих к центру города, тем более на Дворцовую площадь, не будут допущены; все шествия будут остановлены у застав" ******.

---

* *Окончание. Начало в № 7.*

* Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 321.

** Исторические записки. Т. 77. С. 259.

*** Любимов Д.Н. Цит. соч. С. 127.

**** Семанов С. Цит. соч. С. 66.

***** Витте С. Ю. Цит. соч. С. 342.

****** Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 127.

Официально военное положение объявлено не было, хотя 7 января к Фуллону явился начальник штаба войск гвардии генерал Мешетич и объявил, что "по высочайшему повелению Петербург объявляется на военном положении". Высшая власть в городе переходит к командующему гвардейским корпусом князю Васильчикову*. Однако, как сообщает Е. А. Святополк-Мирская, в 10 часов вечера 8 января ее муж "поехал в Царское, чтобы просить, чтобы Петербург не был объявлен на военном положении, так как Фредерико перед обедом приезжал передать об этом высочайшее повеление. П. говорит, что ничего этим не достигается и только ужасное впечатление произвело бы, Коковцов в ужас пришел. Он говорит, что и без этого курс пал, как ни разу за всю войну, и что в Париже все русские бумаги на предложении и никто не покупает"**. Итак, в угоду акционерам решено было сделать вид, как будто все спокойно, что заведомо провоцировало толпу на то, чтобы не принимать присутствия войск всерьез. Объявление военного положения произвело бы, видите ли, "ужасное впечатление", зато расстрел толпы на улицах, очевидно, менее ужасен. Мирский съездил к царю и нашел, что "государь совершенно беззаботен, согласился не объявлять военного положения"***.

Однако откуда такая беззаботность? Как справедливо отмечает Д. Н. Любимов, "возникал ряд сомнений: что доложил министр государю? А главное, сознает ли сам министр серьезность положения? Доклад Мирского, очевидно, был чисто формальный и не произвел на государя никакого впечатления"****. Так оно по сути дела и было. В дневнике Николая II, который, кстати, с 6 января безвыездно жил в Царском Селе *****, причем

---

* Семанов С. Цит. соч. С. 66.

** Исторические записки. Т. 77. С. 237.

*** Там же.

**** Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 129.

***** Семанов С. Цит. соч. С. 64.

Гапону градоначальником было объявлено, что государь в воскресенье в Петербург не приедет *, мы читаем лишь лаконичную запись: "8 января. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 тысяч человек... Мирский приезжал вечером с докладом о принятых мерах" **.

Почему Мирский ввел царя в заблуждение? Любимов не берет на себя смелость ответить на этот вопрос. "Всем известная безусловная честность и высокая порядочность князя П. Д. Святополк-Мирского совершенно не допускает мысли о каком-либо с его стороны умысле в каких бы то ни было целях. Остается недоразумение" ***. Недоразумение с пушкой, недоразумение с докладом... Не слишком ли много "недоразумений"?

Позже А. А. Лопухин уверял, будто "жители столицы были заблаговременно предупреждены"****. Действительно, за два дня до 9 января были развешаны объявления градоначальников не собираться толпами, но этих объявлений почти никто не читал *****. Нужного впечатления произведено не было.

Что же касается войск, то их на улицы столицы 7 января было выведено еще только 3 тысячи ******. После же совещания у Мирского в Петербурге срочно вызвали конные и пешие части из Петербурга, Пскова и Ревеля, сосредоточив в итоге 20 пехотных батальонов, 23 с половиной эскадрона гвардейской кавалерии и 8 казачьих сотен, всего 9 тысяч штыков и 3 тысячи сабель, причем непосредственно Зимний дворец охраняли 2,2 тысячи солдат гвардии, из них половина — кавалеристы *******. Общее командование было возложено на командира гвардейского корпуса (т. е. генерал-адъютанта князя С. И. Васильчикова) ********.

Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо. Официально командовал войсками Петербургского военного округа и гвардией великий князь Владимир Александрович, которого тогдашняя либеральная "публика" очень опасалась (см. приведенный выше диалог из "Клима Самгина") и считала главным распорядителем событий 9 января *********, что ввело первоначально в заблуждение и Ленина (позже он исправил свою ошибку). Странно, что у некоторых это заблуждение оказалось очень стойким. А. Фрайман в брошюре "Девятое января 1905 года" (Л., 1955. С. 21) буквально высасывает из пальца военное совещание 8 января 1905 года "под председательством Владимира", хотя ни в одном документе не зафиксировано участие великого князя Владимира ни на одном совещании в эти дни — военную сторону все время представляли Васильчиков и Мешетич. Владимир очень нужен нашим авторам по причине некоторых его кровожадных высказываний о желательности "кровопускания" *, очень хорошо смотрящихся с точки зрения версии о "правительственной провокации", но что делать? Не было тогда в Петербурге ни великого князя, ни царя.

Мы уже говорили раньше о шашнях Гапона с революционерами и о том, что масса об этих шашнях не знала. Парадокс заключался в том, что эта масса пошла бы тогда за Гапоном и на революцию, но только за ним, а не за революционерами. Гапон же умышленно оттягивал свое решающее слово до последнего момента. Поэтому попытки революционных выскочек забежать 9 января и накануне "поперед батьки" кончились неудачей.

Судя по воспоминаниям П. Варнашева, гапоновское руководство боялось, "не помешали бы революционеры". Партийных до 8-го не было видно: они появились только в этот день и 9-го утром. Варнашев описывает характерные случаи. 8 января один из партийных, вынув прокламации, начал раздавать их. Некоторые вовсе не брали, а другие, посмотрев, недоуменно-почтительно возвращали обратно. Во время своего выступления Варнашев вдруг услышал крики: "Как смеешь? Что делаешь?" Оказывается, за его спиной кто-то сорвал со стены царский портрет, и портрет упал на пол. Вечером рабочие сахарного завода Кенига схватили одного партийного и хотели отправить его в участок за то, что тот раздавал прокламации и сказал: "К черту царя" **.

Такие же жанровые сценки изображает М. Горький в очерке "Девятое января": "Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос: "Товарищи, не обманывайте сами себя"... Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливым и раздраженным всплеском криков: "Мы желаем открыто!..", "Ты, брат, молчи!..", "Гоните его прочь, дьявола! Отец Гапон лучше знает, как...", "Не надо нам красных флагов! Не надо! Смутьяны, черти! Отец Гапон с крестом, а он — с флагом. — Молодой еще, но тоже, чтобы командовать..." "Гоните его с флагом..."***

Л. Субботина вспоминает, как 8 января она

---

* Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 127.

** Дневник Императора Николая II. Берлин, 1923. С. 194.

*** Начало первой русской революции. С. 102.

**** Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 129.

***** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г. // "Красная летопись", 1922. № 1. С. 38.

****** Семанов С. Цит. соч. С. 51.

******* Там же. С. 67, 72.

******** Начало первой русской революции. С. 50.

********* "Красный архив". 1925. Т. IV — V (11—12). С 32.

---

* Фрайман А. Цит. соч. С. 20.

** Историко-революционный сборник. Л., 1924. Т. 1. С. 205.

*** Горький М. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 167—169.

раздавала листовки, и раздался голос какой-то старушонки: "Не берите, братцы, этих бумажонок, ж... ими вытирать". "Бунтовщиков долой, вон!" — поддержали старушку другие *. По свидетельству Л. Гуревич, "в Нарвском отделе партийные возгласы и попытки призвать народ под красные флаги вызвали бурный гнев толпы" **. "Нам студентов не надо!" — кричали рабочие на Васильевском острове ***, а вожаки давали инструкции: "Знамен не надо. Но тех, кто носит знамена, не бить — только знамя отнять" ****.

Знала обо всех этих перипетиях и полиция. Начальник Петербургского охранного отделения Кременецкий докладывал 8 января: "По полученным агентурным сведениям, предлагаемым на завтра, по инициативе отца Гапона, шествием на Дворцовую площадь забастовавших рабочих намерены воспользоваться и революционные организации столицы для произведения противоправительственной демонстрации. Для этой цели сегодня изготовляются флаги с преступными надписями, причем флаги эти будут скрыты до того момента, пока против шествующих рабочих не станет действовать полиция; тогда, воспользовавшись замешательством, флагоносцы вынут флаги, чтобы создать обстановку, что рабочие идут под флагом революционных организаций.

Затем социалисты-революционеры намерены воспользоваться беспорядками, чтобы разграбить оружейные магазины по Большой Конюшенной улице и Литейному проспекту.

Сегодня, во время собрания рабочих в Нарвском отделении, туда явился агитировать какой-то агитатор из партии социалистов-революционеров, по-видимому, студент Санкт-Петербургского университета Валериан Павлов Каретников, но был рабочими избит.

В одном из отделений Собрания в городском районе та же участь постигла... членов местной социал-демократической организации Александра Харика и Юлию Жилевич.

Возможные меры к изъятию флагов приняты" *****.

Флаги, действительно, изготавливались в изобилии. Л. Субботина вспоминает, как они с "Самуилом-шапочником" шили флаги всю ночь, и Самуил зашился до того, что вышил на одном из знамен вместо "Долой самодержавие" — "Дло здержаве". Но товар этот, как мы видели, до поры до времени спросом не пользовался

Утром 9 января раньше всех, в 6 часов 30 минут, двинулись из Колпина рабочие Ижорского завода, которым предстоял самый дальний путь. В количестве 1000 человек они вышли на Шлиссельбургский тракт, где в 9 часов к ним присоединились 5—10 тысяч рабочих Нарвской заставы. Эта колонна была встречена двумя сотнями лейб-гвардии Атаманского полка. Как описывает А. Фрайман, без всякого предупреждения раздались выстрелы, и на землю упали убитые и раненые *. На самом деле здесь стреляли холостыми и убитых не было **.

К рабочим, собравшимся у Нарвской заставы, прибыл в 10 часов утра сам Гапон в полном облачении со своими телохранителями. В последние дни его окружала верная стража из нескольких молодых рабочих, готовых любой ценой защитить отца Георгия. Именно благодаря этой защите остался пустой бумажкой ордер на арест Гапона, выданный вечером 8 января ***. Гапон был уже не в силах говорить, и от его имени к толпе обратился начальник инструментальных мастерских Путиловского завода эсер Рутенберг, сблизившийся в последние дни с Гапоном и приобретший на него влияние ****. Рутенберг предупредил рабочих, что подступы к Дворцовой площади заняты войсками, которые могут начать стрелять в шествие, чтобы не допустить к царю. Обращаясь к народу, он спрашивал рабочих: "Хотите ли вы все-таки идти?" — "Пойдем", — отвечала толпа*****. Сам Рутенберг рассказывает, что предложил Гапону наиболее подходящий путь для процессии с той целью, чтобы, если войска станут стрелять, забаррикадировать улицы, взять оружие из магазинов и прорваться к Зимнему.

50-тысячная толпа ****** двинулась с иконами, хоругвями и царскими портретами. У Нарвских ворот путь ей преградили две роты 93-го Иркутского полка, накануне прибывшие из Пскова. Сначала в атаку пошли конные гренадеры, когда же эта атака не дала результатов, солдаты дали пять залпов по толпе.

В рапорте начальнику 1-й гвардейской пехотной дивизии А. Е. Зальцу командовавший войсками в этом районе генерал Руданский так описывал ход событий: "Сего 9 января около 12 часов дня толпа рабочих приблизительно от 2 до 3 тысяч человек двигалась по Петергофскому шоссе к Нарвским Триумфальным воротам, неся с собой портреты их величества, кресты и хоругви, насильственно, как оказывается, и самовольно взятые из часовни". Чины полиции уговаривали тол-

---

* Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г. С. 14.

** Гуревич Л. Я. Цит. соч. С. 35.

*** Там же. С. 54.

**** Там же. С. 57.

***** Начало первой русской революции. С. 35.

---

* Фрайман А. Цит. соч. С. 23.

** Семанов С. Цит. соч. С. 82—83.

*** Там же. С. 64.

**** Там же. С. 83.

***** Розенблюм К. И. Январские дни 1905 г. Л., 1937. С. 44, 46.

****** Так у Семанова С. — Цит. соч. С. 83.

пу, предупреждали, что войска будут стрелять — безрезультатно. Тогда в дело были пущены лейб-гвардии конные гренадеры. "В это время был тяжело ранен (по сведениям, собранным полицмейстером Нарвского отделения) рабочими помощник пристава Петергофского участка поручик Жолткевич, а околоточный надзиратель убит". Во время кавалерийской атаки из толпы было сделано "два выстрела из револьверов, не причинившие вреда никому из людей эскадрона... Одним из рабочих был нанесен удар крестом взводному унтер-офицеру". После этого командующий двумя ротами 93-го Иркутского полка капитан фон Гейн, после троекратного сигнала, когда толпа приблизилась на 200 шагов, дал пять залпов. Толпа рассеялась, оставив более 40 человек убитыми и ранеными *. Начальник Петербургского охранного отделения добавляет к этому рапорту, что толпу уговаривали пристав Зиачковский, что солдаты стреляли "пачками" и убитых насчитывается 10 человек, а раненых 20, причем в числе пострадавших находятся хоругвеносцы и рабочие, несшие портреты их величеств **. Наконец, министерство юстиции называет в своей записке цифру 45 убитых и раненых. Жолткевич, согласно этой записке, был тяжело ранен пулею в спину навылет, а околоточный надзиратель Шорников смертельно ранен ***.

А вот свидетельство с другой стороны. Большевик А. Серебровский шел в рядах колонны. По его словам, "конные солдаты действовали очень слабо и не могли осадить или рассеять толпу". Первый залп был дан в воздух. "Видя, что никто не убит, все пошли вперед на солдат, думая их оттеснить и смять". Увидев направленные на толпу винтовки, те, кто был в первых рядах, легли. Задние и средние ряды остались стоять. После пяти залпов было убито около 60 человек и более сотни ранено. И опять лежавшие в первом ряду оказались в наиболее выгодном положении: им было легче всего улизнуть под мост ****.

Следует отметить, что никаких специальных распоряжений командиры частей не получили и, следовательно, должны были действовать согласно общим уставным положениям.

Так они и действовали: на Шлиссельбургском тракте без кровопролития, у Нарвской заставы, увы, со стрельбой. Но разница была и в поведении толпы: в первом случае толпа рассеялась, во втором — двинулась на солдат, чтобы оттеснить их и смять, как рассказывает А. Серебровский, не верить которому у нас нет оснований.

На Выборгской стороне опять-таки обошлось без стрельбы. Толпа была рассеяна атакой двух эскадронов улан, и часть ее отправилась окольным путем для соединения с рабочими Петербургской стороны. Оттуда по Каменноостровскому проспекту двигалась огромная колонна, около 20 тысяч человек. Путь ей преградил лейб-гвардии Павловский полк.

Четкой картины того, что произошло в этом пункте, составить не удастся за отсутствием сравнительных описаний и документальных источников. Где-то рядом находился Горький, туда же он привел и своего литературного героя Клима Самгина. В романе сцена у Троицкого моста выглядит так:

"Когда вышли на площадь, — передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились, загудели, люди вокруг Самгина стали подпрыгивать, опираясь о плечи друг друга, заглядывая вперед.

— Стой, братцы!.. — Не пускают?

Одни рабочие, задерживая шаг, опрокидывались назад, другие стремительно пробивались вперед, покрикивая:

— Чего стоять? Что там? Наши — двигай!"

Самгина вытесняют вперед, и в полусотне шагов от себя он видит солдат, закрывающих вход на мост: "Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат, слышал, как все более возбужденно покрикивают сотни голосов". Вперед вышел делегат с белым платком. "Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие, клином, во главе со стариком, тоже двинулись за ним... Человек десять, обогнав старика, бросились вперед; стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверкнув, исчезла, прозвучал, не очень громко, сухой, рваный треск, еще раз и еще".

Судя по этому описанию, солдатам и здесь угрожала опасность быть смятыми толпой. Если до солдат было всего полсотни шагов и часть этого расстояния быстро двинувшийся авангард толпы уже прошел, значит, дальнейшее промедление становилось опасным. Ни о каких предупреждениях не могло уже идти и речи. В свете этих фактов сетования комиссии присяжных поверенных на то, что "никакого предупреждения о стрельбе не было" *, можно не принимать во внимание, как и горьковское "еще и еще". Был дан один только залп. Число жертв в этом месте, по С. Семанову, 48 убитых и 100 раненых. Много людей погибло и при последовавшей за залпом кавалерийской атаке **.

Кременецкий в записке называет совсем другие цифры: пятеро убитых, 10 — тяжело и 40 — легко раненых ***. Жандарма, конечно, легко заподозрить в умышленном преуменьшении, од-

* Начало первой русской революции. С. 51.
** Там же. С. 52.
*** Там же. С. 55.
**** Серебровский А. Цит. соч. С. 36.

* Начало первой русской революции. С. 133.
** Семанов. С. Цит. соч. С. 95.
*** Начало первой русской революции. С. 52.

нако "честный свидетель", затершийся в рабочую массу переодетый студент, подтверждает Кременецкого: шестеро убитых и около 30 раненых *.

По какому-то недоразумению все официальные документы в один голос уверяют, будто толпу на Каменноостровском проспекте вел сам Гапон **. На самом деле Гапон сразу выбыл из игры. После первого залпа у Нарвских ворот Рутенберг повалил его на землю, а потом быстро увел от греха подальше.

Отсутствие общих установок у военных иллюстрирует показательными примерами сама же Л. Гуревич. "В других окраинных частях города, кроме Петербургской стороны, — пишет она, — ответственные офицеры действовали мягче". Например, колпинцы имели первое объяснение с войсками только на Мытнинской, подле Невского. Офицер просил их идти не толпою, а малыми группами, что они и исполнили ***. Такими примерами Гуревич опровергает свое же собственное запальчивое и необоснованное обвинение в адрес военного ведомства, как будто оно "подготовляло приказами расстрел". И не только примерами, а и прямой констатацией того, что "офицерам было предоставлено высшим военным начальством действовать по усмотрению" ****.

Пути с окраин были перекрыты. Но на Дворцовой площади все же собралась большая, разношерстная толпа, наэлектризованная слухами о расстрелах. С. Семанов ссылается на отчеты военных властей, которые, дескать, признают, что собравшиеся вели себя мирно и никаких попыток прорваться к Зимнему не предпринимали *****. Однако в рапорте генерал-майора Гадона, командира лейб-гвардии Преображенского полка, рота которого охраняла Зимний дворец, говорится: "Из толпы стали выходить люди с дерзкими заявлениями, обращенными к роте, главным предметом которых было нахождение войск здесь, а не на войне ******. Д. Любимов в воспоминаниях пишет, что на Дворцовой площади "первой стреляла оттеснутая к самому дворцу рота Преображенского полка, которой командовал капитан Мансуров. Выстрелы были вызваны самообороной от напора, а также оскорблениями толпы. Это мне лично рассказывал Н. Н. Мансуров, которого я хорошо знал, человек в высшей степени порядочный и правдивый, впоследствии, в начале революции, расстрелянный" *******.

С той положительной характеристикой, какую дает Мансурову Любимов, как-то не вяжется приводимый С. Семановым без ссылки на источник рассказ о том, что капитан Мансуров специально приказал стрелять по мальчикам, сидевшим на деревьях *. Более правдоподобно предположение В. Невского, что мальчишки попали под пули случайно, поскольку "некоторая часть войск стреляла вверх, явно не желая бить по толпе" **. Привлечем опять в качестве свидетеля М. Горького. В очерке "Девятое января" рассказывается, что толпа стояла вплотную к солдатам, возбужденно переговаривалась с ними и кое-кто уже хватал солдатские ружья. В "Климе Самгине" ярко показана расстановка сил. Солдат было, "вероятно, меньше двух сотен, левый фланг упирается в стену здания на углу Невского, правый — в решетку сквера. Что они могли сделать против нескольких тысяч людей, стоявших на всем протяжении от Невского до Исакиевской площади?" "Люди и не боялись, стоя почти грудь с грудью к солдатам".

Приказ открыть огонь на Дворцовой площади после трех безрезультатных кавалерийских атак был отдан лично командующим гвардейским корпусом князем Васильчиковым через генерала Щербачева ***. После двух залпов на месте осталось, по официальным данным, около 30 убитых и раненых ****. Газеты увеличили их число до 150 *****.

В описанных событиях на Дворцовой площади промелькнула одна деталь, которую можно было бы счесть незначительной, будь она только одна. Как известно, царя в столице не было. Тем не менее, когда толпу пытались уверить в этом, "народ отвечал, что государь здесь, потому что флаг на дворце"******. Что же это за история с этим флагом? Опять очередное недоразумение? Эти недоразумения на наших глазах становятся все многочисленней и подозрительней.

Третий за день случай применения огнестрельного оружия накалил обстановку до предела и вызвал странное озлобление против военных. Толпа заняла буквально все соседние места Невского и Гоголевской улицы, избивая без пощады всех военных, которые проезжали на санях *******. Из пострадавших известны генерал Рудановский, командовавший у Нарвских ворот, и генерал Эрлих. Из групп рабочих слышались,

* Начало первой русской революции. С. 97.
** Там же. С. 52, 54, 56, 67.
*** Гуревич Л. Цит. соч. С. 63—64.
**** Там же. С. 49.
***** Семанов С. Цит. соч. С. 102.
****** Начало первой русской революции. С. 59.
******* Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 115.

* Семанов С. Цит. соч. С. 104—105.
** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 57
*** Начало первой русской революции. С. 59; Семанов С. Цит. соч. С. 103—104.
**** Начало первой русской революции. С. 68.
***** Там же. С. 93.
****** Начало первой русской революции. С. 115.
******* Семанов С. Цит. соч. С. 106.

между прочим, возгласы по адресу военных: "В царя стрелять из пушки умеете, а от японцев бежите"*.

Для наведения порядка в третьем часу был двинут батальон лейб-гвардии Семеновского полка, командиру которого, полковнику Риману, было поручено очистить Невский. У Полицейского моста Риман развернул своих солдат, один отряд взял на прицел толпу на Невском, два других — по обе стороны набережной Мойки. Было дано шесть залпов. Нигде в тот день в Петербурге не прозвучало столько выстрелов одновременно**. Однако власти, устами полковника Кремнецкого, утверждают, что и в этом случае было убито всего 16 человек ***.

Но уже произошел психологический перелом, которого не учли каратели. Выстрелы больше никого не пугали. Разогнанная в одном месте толпа собиралась в другом. Раздавался не плач по убитым, не проклятия убийцам — глумливый хохот сопровождал действия войск. Люди, не помня себя, словно одержимые, бросались под пули, под шашки...

Нечто фантастическое творилось в этот день не только на земле, но и на небе. С утра оно было затянуто белесоватой мглою, и мутно-красное солнце давало в тумане два отражения около себя, так что глазам казалось, будто на небе три солнца. Потом, в третьем часу дня, необычная зимою яркая радуга засветилась на небе, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря ****.

Словно невидимая рука чертила письменами небесного знамения судьбы России: путь, которым она могла бы пойти, путь, осененный знаком Троицы и венчаемый радугой, символом надежды, и путь, которым она пошла, путь через бурю, накликанную всякими буревестниками, через ветры и метели, за которыми кому-то еще мерещился Христос, тогда как на самом деле, как гениально предвидел величайший русский поэт:

> "Бесконечны, безобразны,
> В мутной месяца игре
> Закружились бесы разны..."

Столкновения войск с народом продолжались на Невском до позднего вечера. Из окна одного дома в полковника Римана дважды стреляли из револьвера. Около шести часов вечера демонстранты перегородили Невский баррикадой напротив Казанского собора. Лишь к одиннадцати часам вечера войскам удалось, наконец, разогнать толпу *****.

---

* Начало первой русской революции. С. 56.
** Семанов С. Цит. соч. С. 108.
*** Начало первой русской революции. С. 52.
**** Гуревич Л. Цит. соч. С. 76.
***** Семанов С. Цит. соч. С 109—110.

И еще один район Петербурга стал ареной бурных событий — Васильевский остров. Рабочие собрались здесь в 10 часов утра и после молитвы двинулись в путь к Зимнему дворцу, причем путь самый близкий. У здания Академии художеств толпа была встречена и разогнана сотней казаков и эскадроном лейб-улан, а из окон Академии эту сцену наблюдал знаменитый художник Серов (Бергман), запечатлевший ее на картине "Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?".

На Васильевском острове тоже стреляли, но уже не по толпе, а по построенным там баррикадам. Одну из них брали две роты лейб-гвардии Финляндского полка, рота 89-го Беломорского пехотного полка и эскадрон улан, другую — только солдаты Беломорского полка. По первой баррикаде был дан всего один залп, по второй — три.

Вечером на Васильевском острове и Петербургской стороне "толпа рабочих и хулиганов", как выразился подполковник Кременецкий, гасила фонари и громила магазины. Толпой, по словам того же жандармского начальника, руководил студент Санкт-Петербургского университета Леонид Давыдович Давыдов *. В. Невский называет еще одного организатора беспорядков — Семена Рехтзаммера ** ("товарища Сеньку" из воспоминаний Л. Субботиной).

Каково же общее число жертв 9 января? Больше всех наубивали, конечно, журналисты. Они насчитывали 4600 убитых и раненых ***. Не менее кровожаден и А. Фрайман, убивший свыше 1000 человек и ранивший более 2000 ****, но этого автора мы уже не раз ловили на откровенной лжи и вправе подозревать, что это слегка подправивший свою фамилию фонвизинский Вральман. Но если А. Фрайман просто берет цифры с потолка, то В. Бонч-Бруевич пытался их научно обосновать. Он исходит из того, что 12 ротами разных полков было произведено 32 залпа, всего 2861 выстрел. Допуская 16 осечек на залп на роту, на 110 выстрелов, Бонч скидывает 15 процентов, т. е. 430 выстрелов, столько же кладет на промахи, получает в остатке 2000 попаданий и приходит к выводу, что пострадало не менее 4 тысяч человек *****.

Методику Бонча подверг основательной и справедливой критике С. Семанов. Он находит у Бонча, во-первых, прямые неточности: напри-

---

* Начало первой русской революции. С. 52—53.
** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 16.
*** Начало первой русской революции. С. 811.
**** Фрайман А. Цит. соч. С. 25.
***** Бонч-Бруевич В. 9 января 1905 // Пролетарская революция, 1929. № 1 (84). С. 151—152.

мер, Бонч считает залп двух рот гренадер у Самсониевского моста (220 выстрелов), тогда как на самом деле в этом месте не стреляли. У Александровского сада стреляло не 100 солдат, как считает Бонч, а 68. Во-вторых, совершенно неправильно равномерное распределение попаданий — по пуле на человека. Многие получили по нескольку ранений, и это зарегистрировано врачами больниц *. В третьих, как уже говорилось раньше, часть солдат умышленно стреляла вверх. В итоге своего критического анализа С. Семанов солидаризируется с В. Невским, считавшим наиболее правдоподобной общую цифру 800—1000 человек, но, к сожалению, не уточняет, сколько приходится на убитых и сколько на раненых, хотя В. Невский такое подразделение давал.

В. Невский писал прямо и откровенно: "Цифры в пять и более тысяч, какие назывались в первые дни, явно неверны. Можно приблизительно определить цифру раненых от 450 до 800 и убитых от 150 до 200" **.

Было ли столько же откровенным правительство? Конечно, нет. Цифры жертв явно занижались. Сначала сообщили, что убито всего 76 человек и ранено 223, потом внесли поправку: убито 130, ранено 299 ***. Как видим, оценки с обеих сторон сближаются — 150 и 130 уже совсем рядом. Если добавить, что в листовке, выпущенной РСДРП сразу же после событий 9 января, говорилось: "Убитых не менее 150 человек, раненых же многие сотни" ****, то можно окончательно остановиться на цифре 150.

По полтораста трупов за один день, это, конечно, немало, и чувства горечи и озлобления в народе вполне понятны. Это сегодня, после страшных гекатомб, унесших миллионы жизней, некоторым может показаться: подумаешь, всего 150 человек... Но даже и эти некоторые, приведись им потерять хоть одного-двух друзей таким же образом, как это случилось 9 января 1905 года, еще неизвестно, как бы себя повели. А тогда в местных отделах гапоновского Собрания, в частности в Нарвском и Петербургском, срывали, топтали и выбрасывали царские портреты *****, причем, как вспоминает А. Карелин, "люди, не только молодые, а и верующие, прежде старики, топтали портреты царя и иконы. И особенно топтали и плевали те, кто прежде заботился о том, чтобы перед иконами постоянно лампадки горели" ******.

Вопрос: кому была на руку подобная метаморфоза? На этом вопросе необходимо особо акцентировать внимание, чтобы окончательно похоро-

---

* Семанов С. Цит. соч. С. 123—124.
** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 56.
*** Семанов С. Цит. соч. С. 120—121.
**** Начало первой русской революции. С. 63.
***** Семанов С. Цит. соч. С. 90, 96.
****** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 113.

нить версию о "провокации царского правительства". Это царское-то правительство было заинтересовано в том, чтобы оплевывали и топтали портреты царя? Да не рассказывайте сказки! А вот противоположная сторона, та, которая потом цинично рассуждала о положительном влиянии расстрела с точки зрения революционного воспитания масс, вот она, главным образом, и выиграла от "кровавого воскресенья", ей-то оно и было нужно, и если уж говорить о провокациях и провокаторах, то искать их нужно слева. Кровь сотен жертв 9 января, как и кровь миллионов жертв первой мировой войны, должна пасть на головы тех, кто задумывал "ради блага народного" преступления против народа, тех, кто в 1905 году прятался за спиной Георгия Гапона, а в 1914 году — за спиной Гаврилы Принципа.

Есть сведения о том, что после прекращения январской забастовки в рабочей среде, понявшей, что она сделалась жертвой обмана, появилось недружелюбное отношение к сотрудничеству, и 11 января на Васильевском острове значительною толпою была избита кучка студентов *.

Ну, хорошо, пусть провокация, пусть масса не разобралась, но правящие-то круги могли быть чуточку проницательней и действовать гибче? Или не могли? Или что другое? И опять на первом плане оказывается главный распорядитель событий, такой умный, такой добрый и такой благородный министр Святополк-Мирский.

Уже вечером 9 января в правящих кругах начались поиски виновных и взаимная перебранка на этой почве. Сначала все хотели сорвать зло на Фуллоне, но когда он появился, он выглядел таким жалким, что на него просто махнули рукой. Мирский, созвав у себя совещание, грозно спросил: "Кем было сделано распоряжение о стрельбе?" От лица военных ему возразил начальник штаба гвардейского корпуса генерал Мешетич, заявивший, что стрельба — "неизбежное последствие вызова войск. Ведь не для парада их вызывали? Существуют на этот счет точные правила, и если толпа, несмотря на троекратное предупреждение, не желает расходиться, а напирает на войска, даются определенные сигналы, а потом стреляют" **. Вспомним, как Витте расхваливал Мирского в мемуарах как "очень культурного генерала Генерального штаба". Надо полагать, что знание устава входило в эту культуру.

Во-вторых, так ли уж точны были те правила, на которые ссылается Мешетич? Оказывается, ничего подобного. Во всеподданнейшем отчете о действиях военного министерства за 1905 год читаем: "Ввиду обнаружившейся неполноты действующих правил о порядке вызова войск для содействия гражданским властям и необходимости

---

* Начало первой русской революции. С. 104.
** Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 116.

точной регламентации случаев применения войсками оружия образованной при Главном штабе межведомственной комиссией в отчетном году был выработан новый проект правил, внесенный затем на утверждение Государственного совета за подписью военного министра и министра внутренних дел". Разработанный приказ был утвержден царем 7 февраля 1906 года и опубликован в сборнике распоряжений по военному ведомству за 1906 год под номером 102 на страницах 137—144.

Приказ явно учитывал уроки 9 января. Порядок применения оружия устанавливался пунктом 30 приказа. Оружие применяется после троекратного предупреждения сигналом на трубе или барабане для рассеяния неповинующейся толпы, против толпы, препятствующей движению войск, а также против толпы, оскорбляющей войска словами, и без всякого предупреждения — против толпы, нападающей на войска или совершающей какие-либо враждебные против них действия. В примечании к пункту 30 оговаривается, что для предупреждения неповинующейся толпы ни стрельба вверх, ни стрельба холостыми патронами не должны быть допускаемы.

Такое примечание сделало необходимым 9 января. От стрельбы солдат вверх пострадали мальчишки на деревьях и случайные прохожие, находящиеся далеко от места события. Уверенность в том, что войска будут стрелять холостыми "для испуга", действовала на толпу ободряюще и толкала ее вперед, как хорошо показано в "Климе Самгине". Приказ от 7 февраля 1906 года ясно давал понять, что войска действительно вызывают "не для парада".

Николай II глубоко переживал случившееся. "Господи, как больно и как тяжело!" — записал он в своем дневнике 9 января *. Он немедленно уволил в отставку Мирского и Фуллона, что недвусмысленно доказывает неодобрение им их действий. "Мы обвиняем министра внутренних дел Святополка-Мирского в предумышленном, не вызванном положением дела и бессмысленном убийстве множества русских граждан", — писал М. Горький в заявлении, отобранном у него полицией при обыске 15 января **. Что же, царь согласился с Горьким и убрал главного виновника. Роковое то имя для русской истории, Святополк. Недаром великий князь Сергей Александрович называл Мирского "Святополком Окаянным" ***.

А как же наш главный герой, отец Георгий Гапон, о котором мы совсем забыли? Как он повел себя и что произошло с ним дальше?

Уведенного Рутенбергом Гапона спрятали и остригли, чтобы его не могли опознать, причем "волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия" *. Это любопытное свидетельство. Значит, от событий 9 января пострадал только авторитет царя, но не авторитет Гапона.

Гапон, не в пример царю, умел говорить с людьми, умел улавливать настроение. Он-то нашел слова. В его прокламации говорилось: "Отомстим же, братья, проклятому народом царю"... "Бомбы, динамит — все разрешаю"... "Стройте баррикады, громите царские дворцы" **.

Об этом приказе Гапона положительно отзывался в статье "Начало революции в России", написанной 12 января, В. И. Ленин: "Немедленное низвержение правительства — вот лозунг, которым ответили на бойню 9 января даже верившие в царя петербургские рабочие, ответили устами их вождя, священника Георгия Гапона, который сказал после этого кровавого дня: "У нас нет больше царя. Река крови отделяет царя от народа. Да здравствует борьба за свободу!" ***

18 января в статье, посвященной специально Гапону, Ленин рассматривает и отвергает мысль о провокаторстве Гапона. Для Ленина "наличность либерального, реформаторского движения среди некоторой части молодого русского духовенства не подлежит сомнению: это движение нашло себе выразителей и на собраниях религиозно-философского общества, и в церковной литературе. Это движение получило даже свое название: "новоправославное" движение. Нельзя поэтому безусловно исключать мысль, что Гапон мог быть искренним христианским социалистом, что именно кровавое воскресенье толкнуло его на вполне революционный путь. Мы склоняемся к этому предположению, тем более, что письма Гапона, написанные им после бойни 9 января о том, что "у нас нет царя", призыв его к борьбе за свободу и т. д. — все это факты, говорящие в пользу его честности и искренности, ибо в задачи провокаторов никак уже не могла входить такая могучая агитация за продолжение восстания" ****.

В тот же день Лениным была написана статья "Царь-батюшка" и баррикады", в которой признавалось, что социал-демократы вначале относились и не могли не относиться с недоверием к Гапону. "Человек, носивший рясу, веривший в бога и действовавший под высоким покровительством Зубатова и охранного отделения, не мог не внушить подозрений. Искренне или неискренне рвал он на себе рясу и проклинал свою принадлежность к подлому сословию, сословию попов,

* Дневник Императора Николая II. С. 194.
** Начало первой русской революции. С. 88.
*** Исторические записки. Т. 77. С. 255.

* Рутенберг П. Цит. соч. С. 12.
** Там же. С. 14.
*** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 202—203.
**** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 210—211.

грабящих и развращающих народ, этого не мог с уверенностью сказать никто, кроме разве лиц, близко знавших Гапона лично, т. е. кроме ничтожной горстки людей. Это могли решить только развертывающиеся исторические события, только факты, факты и факты. И факты решили этот вопрос в пользу Гапона" *.

В номере 7 большевистской газеты "Вперед" Ленин в статье "О боевом соглашении для восстания" с удовольствием напечатал открытое письмо Гапона к социалистическим партиям России с призывом "немедленно войти в соглашение между собой и приступить к делу вооруженного восстания против царизма". Ленин приветствовал это предложение, но отметил как отрицательный факт "внепартийность" Гапона и пожелал последнему "доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания" **.

В речи на III съезде РСДРП 23 апреля 1905 года Ленин рассказал о своей личной встрече с Гапоном. "Он говорил мне, что стоит на точке зрения с.-д., но по некоторым соображениям он не считает возможным заявить это открыто. Я ему сказал, что дипломатия вещь хорошая, — но не между революционерами... На меня он произвел впечатление человека безусловно преданного революции, инициативного и умного, хотя, к сожалению, без выдержанного революционного миросозерцания" ***.

Социал-демократом, однако, Гапон не стал. Он поселился в Париже в семье Азефа и был принят в партию эсеров ****. По революционный пыл Гапона оказался нестойким: после манифеста 17 октября 1905 года Гапон явно засомневался, не слишком ли рано и неосмотрительно он перечеркнул для себя возможности легальной деятельности. Гапон замегался и начал нащупывать новые пути к легализации. Представлял Гапона на переговорах с двумя враждующими лагерями в верхах — Витте и Тимирязевым, с одной стороны, Дурново и Рачковским, с другой, — один и тот же вездесущий Мануйлов *****. Рабочие относились к Гапону с прежним доверием: под новый 1906 год в Териоках у Гапона было собрание рабочих в 110 человек, которые подтвердили все его права и полномочия, которыми он пользовался до 9 января ******. Иначе смотрели на Гапона власти и революционеры. Для властей Гапон после всех его скачков был человеком ненадежным, и с ним сносились исключительно ради каких-то темных планов и интриг, разобраться в которых Гапону было не под силу. У революционеров же ожили прежние подозрения, и они начали против Гапона кампанию инсинуаций в печати. Рабочие, безусловно, доверявшие Гапону, не обращали внимания на газеты *, но самого Гапона эта клевета глубоко ранила, и он решил требовать общественного суда **. "Жидовская клика, — говорил он, — ругает меня предателем, провокатором, вором. Пусть докажут с документами в руках, кого я предал, что украл" ***.

Документов таких не было. Их до сих пор нет. И видя, что клевета не действует, революционеры решили обратиться к своему последнему излюбленному средству: убрать нежелательную политическую фигуру.

Главным организатором этого мокрого дела был настоящий и несомненный провокатор Евно Фишелевич Азеф, руководителем группы непосредственных исполнителей — Петр Моисеевич Рутенберг, тогда эсер, позже сионист, писавший в сионистской прессе под псевдонимом Пинхас бен-Амини, наконец, уехавший в Палестину. Гапон слишком неосторожно распинался перед Рутенбергом насчет "жидовской клики" и "жидовских газет" ****. Неудивительно, что Азеф дал команду покончить с Гапоном, как с гадиной *****. По тем же мотивам Азеф организовал покушения на Плеве и великого князя Сергея Александровича, слывших антисемитами. Специфика "дела Гапона" заключалась в том, что нужно было не только убить человека, но и завалить его могилу тяжеленным камнем — обвинением в провокации, чтобы никогда не вылез.

О своих отношениях с Рачковским и другими полицейскими деятелями Гапон, надо сказать, регулярно докладывал Рутенбергу, который сам признает: "ЦК не может предъявить доказательств его сношений с полицией, кроме моих показаний о разговорах с Гапоном, происходивших с глазу на глаз" ******. И все наше знание об обстоятельствах убийства Гапона тоже ограничивается одним лишь рассказом Рутенберга, которому наши историки почему-то слепо доверяют и принимают его версию без какой-то попытки критического анализа.

Гапон был убит на снятой Рутенбергом даче в Озерках 28 марта 1906 года. Участвовали в деле человек, изображавший слугу Рутенберга, и какие-то таинственные "рабочие". Ни одна фамилия никогда, даже после революции, названа не была, никто не подтвердил правдивость рассказа Рутенберга, но наши историки до сих пор пишут,

* Там же. С. 217—218.
** Там же. Т. 9. С. 280—282.
*** Там же. Т. 10. С. 180.
**** Рутенберг П. Цит. соч. С. 17, 19.
***** Там же. С. 27—28.
****** Там же. С. 43.

* Там же. С. 42.
** Там же. С. 43.
*** Там же. С. 47.
**** Там же. С. 58.
***** Там же. С. 38.
****** Рутенберг. Цит. соч. С. 38.

что Гапон был "повешен рабочими", исходя из одних только слов Рутенберга: "Я обратился к группе рабочих, членов партии"* (подчеркнуто нами. — А. С.). Насколько известно, эсеры не могли похвастаться успехом в рабочей среде. А. Карелин пишет: "Я очень сомневаюсь, были ли при убийстве Гапона рабочие" и рассказывает, что один его приятель, Смирнов, встретил в Америке некоего интеллигента Краснова, который утверждал, что он участвовал в этом деле **. Возможно, речь идет о том самом Краснове, который присутствовал вместе с Азефом при приеме Гапона в партию эсеров ***. Далее А. Карелин пишет, что здесь был замешан и Савинков, которого Гапон однажды назвал сволочью. Предположение Карелина подтверждается Д. Любимовым, который называет ближайшим помощником Рутенберга в этом деле Деренталя, известного подручного Савинкова ****. Так постепенно испаряются пресловутые рабочие и остается трио: Азеф — Рутенберг — Деренталь. "Смерть Гапона была принесена в жертву для Азефа", — резюмирует Карелин. Репутация Гапона до сих пор приносится в жертву мифу, созданному советскими историками вокруг событий 9 января 1905 года.

А. Карелин остался на твердой позиции. "Ложь все то, что говорили и сейчас говорят про Гапона. Грязь на него выливала больше все интеллигенция разная, партийная и беспартийная, бесхребетная больше". "Мы же, гапоновцы, верили и верим в его чистоту. Такого человека, как он, честного, чистого, простого, я больше в жизни не встречал" *****. Того же мнения Л. Гуревич: "Еще не пришло время говорить о сложной личности главного героя и виновника январских событий Георгия Гапона". "Интеллигенция — и партийная, и внепартийная не могла разгадать сложной личности священника Гапона" ******.

Менее восторженный в оценке Гапона И. Павлов сохраняет объективность: "По-моему, он просто талантливый, пожалуй, гениальный организатор, но в то же время такой же точно авантюрист и во всяком случае не провокатор". "Он любил эти рабочие массы... Гапон был искренне предан рабочим" *. Наконец, и в семье советских историков не без нормального. С. Айнзафт писал в книге **: "Что касается роли самого Гапона в этом движении, то до настоящего времени нет еще точных данных, на основании которых можно было бы это установить, был ли он простым агентом охранки, действовавшим исключительно по полицейским мотивам, или это был человек, желавший использовать доверие к нему правительства в интересах рабочих и, как он сам утверждал, усыпив бдительность правительства, создать сильную рабочую организацию... Хотя факт его связи с правительством и охранными сферами нужно считать установленным, но характер этой связи и взаимоотношений его с охранкой — не выяснены. Имеются данные, говорящие за то, что он не был простым агентом охранки, а вел какую-то двойственную политику". Наконец, вспомним, и к какому выводу пришел в отношении Гапона В. И. Ленин. Ведь наши историки очень любят его цитировать как революционера, но он все равно навсегда останется виновником событий 9 января, этого рокового дня, переломившего, как уже говорилось, судьбу России. Не единственным, конечно, виновником: рядом с ним на скамье подсудимых истории будут вечно сидеть и Мирский, и Мануйлов со своим шефом Витте, и Рутенберг со своими эсерами, и Петербургский комитет большевиков, и полковник Риман с капитаном фон Гейном, на долю которых приходится две трети залпов, сделанных в Петербурге 9 января 1905 года, и заочно — неизвестные еще нам "черти мрака", без участия которых, разумеется, не обошлось.

* Там же. С. 57.

** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 116.

*** Рутенберг П. Цит. соч. С. 19.

**** Любимов Д. Н. Цит. соч. С. 121.

***** Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г... С. 108, 112.

****** Гуревич Л. Цит. соч. С. 8, 16.

* Павлов И. Цит. соч. С. 104, 105.

** Айнзафт С. Цит. соц. С. 118—119.

Петр Придиус

"ЗВЕЗДОПАД" *

Как уже упоминалось, Медунов являлся автором доброй дюжины книг, которые выходили в свет почти ежегодно, несмотря на огромную его занятость. Такой творческой плодовитости мог бы позавидовать, наверное, сам Юлиан Семенов... Столичные издательства проявляли к нему повышенный интерес, засылая на Кубань своих полномочных представителей. Иногда их пути здесь перекрещивались с дорогами корреспондентов центральных газет, радио, телевидения, имевших своеобразную "фору" на прием к "первому" в силу оперативности полученных ими заданий. Например, публицистка Галина Шергова в немыслимо короткий срок создала фильм с многозначительным названием — "Легка ли земля Кубани?"

Регулярно печатался наш лидер в издательстве политической литературы, "Колосе", "Советской России"... В семидесятые годы одна за другой вышли его книги "Магистральный путь развития села", "Контрольные обмолоты", "Хлебная нива Кубани"... Кстати, последняя, появившись в издательстве "Колос" в 1978 году тиражом десять тысяч экземпляров, уже в следующем году вышла в том же "Колосе" тиражом тридцать тысяч, правда, в несколько ином, более презентабельном исполнении.

Случалось, ударные темы, вроде "Контрольных обмолотов", "обкатывались" сначала в местном издательстве и только после этого выходили на союзный уровень. На месте, в крае, за прохождением рукописей пристально следил наш Идеолог. Стоило в докладе "первого" прозвучать похвале в чей-то адрес, тем паче если она была плодом его личных наблюдений, Идеолог незамедлительно давал команду: поднять на щит!

"Поднять на щит!" означало зазвонить во все колокола — в газетах, на радио, по телевидению, а в особо важных случаях дело заканчивалось книгой. Издательские планы безжалостно корректировались в течение всего года, книги писались в пожарном порядке, институт так называемых литзаписчиков ("певцов за сценой") повсеместно входил в моду. Редкий начальник не держал под рукой в помощниках разбитного журналиста...

Перебираю книги тех лет, и сердце исходит запоздалой истомой: черт возьми, как все ладно да складно получалось! Вот лишь названия: "Молодость учится коммунизму", "Юные ленинцы Кубани", "Твой друг — наставник", "Штрихи социальных перемен", "Партком и соревнование", "Великий союз созидателей", "Сила критики и самокритики", "Эффект партийного действия", "Бережливость — черта коммунистическая" и т. д. и т. п.

Авторами каждого третьего, если не второго, издания являлись партийные работники, в том числе секретари райкомов и горкомов. Уж когда они, бедолаги, корпели над рукописями, самому господу богу вряд ли известно, ибо какой-нибудь сухонький доклад составить времени не хватало, а тут — книги!..

Да и с докладами случались курьезы... Секретарь Предгорного райкома выступал перед участниками предуборочного совещания. Было это как раз в то лето, когда Кубань поклялась провести жатву в небывало короткие сроки, за семь — девять календарных дней. От Медунова изошла директива: "Никто, ни один руководитель не вправе остановить в загонке комбайн, даже я!"... И вот читает "свой" доклад секретарь Предгорного райкома Федосеев, бойко так читает, с вдохновением, доходит до того места, где говорится о необходимости проявлять максимум заботы о гвардейцах жатвы и сгоряча выпаливает: надо каждого комбайнера накормить, обиходить, как следует, обслужить материально и духовно — спеть песню, поздравить... — запнулся докладчик, будто горчицы хватанул, а потом как рявкнет: — Это ж какой дурак такую хреновину мне написал, чтоб возле каждого комбайнера "теньки-веньки" выделывать? Отставить!..

Швырнув в сторону доклад, пошел секретарь молотить своими словами, благо, в карман за словом не лез.

Ну, доклад еще куда ни шло, а книгу "свою" ни один автор не отверг, более того, проявлялось явное нетерпение, если вдруг писарчук сбивался с ускоренного ритма.

Весь издательский процесс, от начала до конца, контролировал Идеолог, считавший себя профессиональным журналистом. Собственно, он и

* Продолжение. Начало в № 2—5 за 1991 г.

был таковым, с одним незначительным уточнением: журналистом сугубо официального толка — отчеты, доклады, резолюции, речи... Контролируя процесс, сам, между тем, как ни странно, не издавался, если не считать того, что являлся соавтором ряда политических сборников, кои самолично планировал и "разрешал". Еще одна слабость его заключалась в том, что обожал состоять во всевозможных редакционных советах, комиссиях, комитетах, независимо от их направленности и назначения: от юбилея Пушкина до антиалкогольной кампании... Его, конечно, понять можно: всюду требовалось недреманное партийное око...

Меж собой мы до поры до времени недоумевали: как так, других издает, а сам не выпустил ни одной книжки? Уж ему-то издаться, извините, пара пустяков, только пожелай. И в конце концов он сделал для себя исключение, выпустив в Москве, в солидном издательстве книгу, посвященную новым советским обычаям и обрядам. Тираж — пятьдесят тысяч экземпляров — свидетельствовал неопровержимо: тема незаурядная, да и выбранный для показа регион что-то значил, ибо по существовавшим в то время меркам Кубань, можно сказать, находилась у самых врат в "светлое коммунистическое будущее". Бытовало мнение: где самые громкие рапорты, там и мораль самая высокая. А как же иначе?..

Эта мысль доминировала и в упомянутой книге. Напиши ее какой-нибудь залетный литератор, безответственный "щелкопер" — какой с него спрос? Что ухватил на поверхности, то и изобразил. Но тут выступает крупный партийный работник, который, по его словам, был в те времена на одной ноге с самим Александром Николаевичем Яковлевым (будущим идеологом перестройки!); человек,чье слово являлось, по существу, руководством к действию для тысяч и тысяч бойцов культурного фронта.

Каким же было его слово? Кого и куда оно звало? Не буду говорить об откровенной апологетике "застоя", уличать автора в догматизме и консерватизме — все это было бы некорректно, неуважительно, прежде всего по отношению к современному читателю. Куда полезнее прибегнуть к дословному цитированию, подчеркнув при этом, что старые традиции преподносятся в книге как заведомо отжившие, вредные, отрицательные; новые — как положительные, прогрессивные, имеющие право на жизнь. Итак, предисловие:

...Автору хотелось бы внести свою лепту в развитие социалистических традиций, чтобы окончательно изгнать из жизни нашего общества вредные обычаи, обветшалые нравы, чтобы помочь всем поколениям советских людей жить по моральным законам эпохи коммунистического обновления мира.

...Дальше — больше: если наши прадеды расчищали "площадку" от нагромождений эксплуататорского строя, если деды закладывали надежный фундамент, а отцы возводили первые этажи, то новым поколениям предстоит наращивать этаж за этажом... И жить в нем, в этом светлом прекрасном здании коммунизма.

...Сейчас в крае сложился новый обряд регистрации новорожденных. В нем заложен хороший, коммунистический смысл. Родителей и нареченных отца и мать поздравляют представители местного Совета депутатов трудящихся, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций, пионеры. По-человечески сердечно и вместе с тем торжественно звучит их наказ — вырастить достойного сына коммунизма.

...Издревле народ свято чтит память умерших. Да и как иначе: им, ушедшим из жизни, живущие обязаны и своим рождением, и своим благополучием. Церковь, спекулируя на этих благородных чувствах, давно придумала свои формы поминания умерших. Во всех русских селениях в день радуницы и млад и стар идут на кладбище помянуть умерших. Как же очистить поминовение умерших от религиозных наслоений, придать ему сугубо гражданский характер? Ритуал Дня памяти сложился таким: шествие колонн к кладбищам, торжественно-траурные митинги, возложение венков на могилы и к памятникам... Растроганная торжественно-траурным ритуалом, одна из старейших жительниц станицы Павловской сказала: "Теперь и умру спокойно. Знаю, что Советская власть не забудет нас".

...Переведя городской ЗАГС из тесного, невзрачного помещения в новый дом на одной из центральных улиц, тихорецкие активисты создали своеобразный "уголок счастья".

...На Кубани, как, впрочем, и в других краях и областях, исстари живет среди женщин традиция верности солдату. Казачка тяжело расстается с любимым, провожая его на войну, и остается ему верной до конца.

И в заключение — полный оптимизма призыв:

...Народ будущего (почему "будущего"? — П. П.) — строитель коммунизма вышел на историческую арену. Поможем ему создать красивые народные праздники: он испытывает в них огромную потребность.

Даже по этим выдержкам легко заметить: автору свойственны четкая классовая позиция, революционный оптимизм, похвальное стремление к новизне. По всему тексту щедро рассыпаны понятия: "развитой социализм", "светлое коммунистическое будущее", "нерушимое единение партии и народа"... Вполне уместными выглядят ссылки на Ленина, но тем временам естественные, как воздух, которым мы дышим, хотя в данном случае, похоже, сработал принцип: кашу маслом не испортишь.

Идеолог считал себя истинным ленинцем, и

постоянно, всем существом своим стремился напоминать об этом всем и каждому. О чем ни зашла бы речь, он непременно вставит: а что на этот счет есть у Ильича?.. Ну-ну?.. — испытывающе уставится на тебя, потом покровительственно: — Что, не знаешь? Нет? А на-а-до бы знать... — И покосится в сторону стола, где отдельно от бумаг, всегда на одном и том же месте, сиротливо виднелся томик Ленина. Мы почему-то не обращали внимания на тот факт, что годами это был один и тот же томик, и уж тем более не могла прийти в голову крамольная мысль: а знает ли он сам, "что на этот счет есть у Ильича?" Как впоследствии обнаружилось, Идеолог предпочитал цитировать вождя по текстам последних документов ЦК или выступлениям генсека.

Мои коллеги однажды открыли мне глаза и на другое: ты глянь-ка на почерк шефа, угадываешь? Хорошенько приглядись! Ну?.. Я оторопел: н-н-неужто Ленина... Смеются: а то чей же... На-ка, сличи, — положили факсимильную копию рукописи Ильича. Бог мой! Почерк один к одному: такой же бисерный, торопливый, неразборчивый. Помолчали, думая, небось, об одном: сколько ж надо было упражняться, подражать!..

И еще одно неслучайное "сходство".

Наблюдательный читатель, вероятно, помнит по телетрансляциям, как вел себя Суслов в президиумах съездов и торжественных заседаний. Сидя всегда в центре стола, бок о бок с председательствующим, все что-то вычитывал, правил, дописывал... К нему (и только к нему!) беспрестанно подходили бравые ребята из-за кулис с бумагами, одни он забирал, другие отдавал.. Конвейер! Человек не знал покоя даже на торжествах. Все понимали: на то он и идеолог — идеолог партии, страны, а может, и всего международного коммунистического и рабочего движения.

Точь-в-точь таким был и наш Идеолог. Фактически ни одна бумага — ни вверх, в ЦК, ни вниз, в районы — не уходила из крайкома без его ведома: все просматривал, все редактировал. А поскольку бумажный "вал" этот всегда шел по разряду "девятого", и нам, клеркам, кое-что "перепадало": по его указанию тоже сочиняли, шлифовали, улучшали, перевоплощаясь то в аграриев, то в строителей, железнодорожников, медиков, шахматистов... Об идеологии уже не говорю — это был наш хлеб насущный.

Если на минутку вновь возвратиться к книге нашего Идеолога, — она, ей-ей, достойна того как типичное свидетельство эпохи "застоя", — то следует отметить: автор являлся активным участником описываемых событий, когда слово действительно не расходилось с делом.

Вот идеолог повествует о примате коллективности — читали? — и на "октябрины", и на юбилеи, и на похороны — колоннами, дружно, организованно. С пламенными речами, под красными флагами, с боевыми рапортами. Как и многие, мечтал он именно так, маршем вступить в желанный коммунизм.

Делясь опытом внедрения новых обрядов, Идеолог сам помнит и читателю не позволяет забыть, что религия — это "опиум для народа", он даже похороны и поминовения усопших хотел бы организовать на революционный лад, оттеснив от подобных ритуалов ненавистных служителей церкви и обманутую им паству. Единоборство с религией на страницах книги выглядит даже относительно спокойным по тем временам, пожалуй, даже гуманным. Тут автор, как видно, проявил изрядную долю скромности, а быть может, издатели не позволили ему выложить весь накопленный багаж.

Между тем поделиться с читателем было чем, было! Идеолог лично давал указания о сносе церквей, тех самых, что чудом уцелели в 30-е и 50-е годы, в эпоху "кавалерийских" атак на религию. Уже теперь, в наше-то время, были взорваны и стерты с лица земли удивительные архитектурные творения в ряде станиц, а некоторые превращены в склады, затрапезные конторы или отданы во власть "гуляй-ветра".

Печальная участь постигла все храмы в краевом центре. В главном, Екатерининском, и сегодня представляющем собою неповторимое украшение города, богослужение, правда, отправлялось, однако в каких условиях? Подвальные помещения были узурпированы торгашами под склады, а сооружения внутри двора — под гаражи.

Действующим долго оставался и Свято-Троицкий храм, что смотрится, как на ладони, когда проплываешь по реке Кубани. Но однажды доверчивым прихожанам показали поворот от ворот: кончилась, дескать, ваша обедня! Испуганно пятясь назад, они по буквам разбирали небрежную надпись, нанесенную масляной краской на воротах: "Художественные мастерские". Пока прихожане, крестясь, охали да ахали, предприимчивые бытовики заполняли двор глиной, песком, гравием, прочими строительными материалами. В храме уже (прямо по Некрасову!) раздавался топор дровосека... Мастера при этом потешались над ликами святых, взиравшими на них с высоты. Иные неуютно поеживались. Под видом срочных заказов к мастерам зачастил городской люд — полюбоваться уникальными росписями, которым, по слухам, приходил конец. Многие посетители, творя крестное знамение, молились. Обо всем этом было честь по чести доложено главному Идеологу края. "Закрасить!" — распорядился он. Ему напомнили: росписи выполнены учениками самого Васнецова, по его личному указанию. "Васнецофф? — удивился Идеолог. — Закрасить в два слоя и непременно масляной краской".

Старательные исполнители нанесли три слоя

масляной краски. А во дворе, за редкой железной оградой, на фоне храма, почитай, на обозрение всем прохожим, выставлялись болванки, по которым без труда угадывались будущие бюсты ученых, писателей, актеров, вождей, в том числе и Ильича.

Наш Идеолог считал своим святым долгом вести бескомпромиссную борьбу сразу на несколько фронтов: с религией, включая снос храмов; с буржуазным национализмом; с частнособственническими тенденциями, — словом, со всем тем, что у нас именовалось "родимыми пятнами капитализма". По каждому направлению удара имелись тщательно выверенные мероприятия, определены ответственные лица, намечены конкретные сроки. Работа была поставлена на широкую ногу и со знанием дела. И хотя сам Идеолог был родом бог весть из каких краев, в местную специфику врастал довольно скоро и основательно, что позволило ему бдительно следить за всей устной и печатной пропагандой, четко размежевать: что можно прославлять, чего или кого не следует даже упоминать.

Ему, конечно же, было известно, что кубанское казачество замешено на выходцах из двух наций — русских и украинцах, он не отказывал себе в удовольствии иной раз щегольнуть в докладе или публикации словечками "казак", "казачка", а на деле и на дух не принимал казачий колорит, от которого в итоге и остались-то разве что знаменитый Кубанский хор да ритуальные скачки на городском ипподроме. Идеологу бередилась надвигающаяся украинизация (сам писался не то белорусом, не то "хохлом") Кубани, и он всеми силами старался ей противостоять. Имя какого деятеля прошлого ни назови, непременно переспросит: жил, говоришь, на Кубани? Повтори фамилию. Не иначе, украинский националист. По нему, все дореволюционные интеллигенты Кубани являлись украинскими националистами, а современные их собратья, дескать, спят и видят Кубань присоединенной к Украине.

Мы наедине посмеивались: уж не хочет ли он присоединить Украину к Кубани?.. Как шубу к пуговице пришить.

В отношении к нашему прошлому Идеолог неукоснительно руководствовался известным ждановским тезисом: "Мы не те русские, что были до 1917 года!.." Подлинная наша история, повторял он, начинается с Великого Октября, все, что было раньше, — сплошной мрак, прозябание и запустение. В этих заемных утверждениях, конечно, не было ничего оригинального, зато в своих действиях наш "щирый кубанец" был явно неповторим. Десятки славных имен истинных кубанцев были преданы забвению при его активнейшем участии, под его руководством. В первую очередь это коснулось деятелей ОЛИКО — "Общества любителей изучения Кубанской области", просуществовавшего ровно тридцать пять лет, с 1897 по 1932 год. Это было уникальное общество, каких, к сожалению, нет в наши дни. Люди разных профессий и увлечений, по преимуществу интеллигенты, объединялись, чтобы способствовать развитию науки, культуры и экономики родного края. В числе их дорогие сердцу каждого кубанца имена Ф. А. Щербины, И. Д. Попки, Е. Д. Фелицына, П. П. Короленко, Н. М. Мельникова-Разведенкова, С. В. Очаповского...

Создатель Кубанского статистического комитета и Кубанского этнографического и естественно-исторического музея Евгений Дмитриевич Фелицын основную работу в административных учреждениях края успешно сочетал с занятиями археологией, археографией, библиографией, геологией, географией, историей, статистикой и этнографией Кубани. Красивый, статный, хорошо воспитанный, он... так и не женился, чтобы, по его словам, не отвлекаться от любимых занятий. При хорошем жаловании Фелицын умер в долгах: все деньги уходили на общественные нужды.

Федор Андреевич Щербина создал на заре нашего века двухтомный труд "История Кубанского казачьего войска", непревзойденный и поныне.

Профессор Кубанского медицинского института Мельников-Разведенков принимал участие в бальзамировании тела В. И. Ленина по методу, разработанному им самим, но и его имя по сей день практически не встретишь в литературе.

Такие или подобные деяния были на счету каждого члена ОЛИКО, все они служили своей Кубани преданно и бескорыстно и, естественно, как и прежде, являют собой сегодня ярчайший пример благородства, чести и преданности своему народу. К великому сожалению, эти подлинные рыцари были с чьей-то "легкой" руки объявлены буржуазными националистами, и правда о них лишь сегодня робко пробивает себе дорогу к людям.

Даниил Скобцов

Три года революции и гражданской войны на Кубани *

Следующая наша остановка была уже на кубанской земле в станице Новопокровской. Здесь в заседании правительства рассматривался финансовый вопрос, и Быч выступил с предложением заключить заем на Украине. Нас, другую сторону, возмутила прежде всего эта настойчивость подводить Кубань все к тому же источнику, надежды на который уже были так жестоко обмануты.

Кроме того, заем в бумажных карбованцах, которые должны были стать ходячей монетой на Кубани, несомненно, крыл в себе агитационный момент в пользу Нэньки-України, после чего мог быть поставлен вопрос об унификации денежного знака и так легко было докатиться до постоянного карбованца как общего денежного знака Украины — Кубани. И еще: базой карбованца была германская марка. Немцы у них — значит, немцы и у нас.

Сушков и я — мы решительно заявили о недопустимости всей этой сомнительной затеи и настояли на своем, несмотря на то, что в какой-то момент на сторону Быча перешел было и наш "министр финансов" из иногородних А. А. Трусковский.

Было принято общее принципиальное постановление о желательности совместных с донцами и добровольцами усилий для разрешения финансовых затруднений. Предположительно даже говорилось о возможности принудительного внутреннего займа по занятии Екатеринодара и очищения краевой территории от большевиков.

Практическим результатом спора явилось постановление о командировке Трусковского в Новочеркасск для займа необходимой суммы у Донского правительства.

...Нужно признать, что настойчивая игра в это время генерала Краснова в донское великодержавие очень мешала фактическому объединению казачьих краевых правительств. Между тем объединение действий являлось крайней необходимостью и по внутренним казачьим соображениям, и по соображениям установления правильных взаимоотношений с руководителями Добровольческой армии и с возникавшими государственными образованиями на российской территории, Ставрополем и др.

В станице Новопокровской произошло торжество вручения знамени первому вновь сформированному Кубанскому пластунскому батальону.

Основная волна мобилизованных на освобождаемых частях края и притекающих добровольно из других его частей шла главным образом на пополнение старых добровольческих кубанских частей, но вот теперь уже составлялись и новые части, традиционно кубанские пластунские батальоны и конные казачьи полки.

Продвижение вперед делалось по-прежнему походным порядком.

Было уже начало июля: страдная пора полевых работ.

Кто из сельских хозяев поспешил, тот успел до начала боев скосить и свезти сено.

Созревала пшеница. Перестояли ячмени. Зацвели полосы подсолнуха.

И много всего этого вытаптывалось отступавшими и наступавшими...

Подступы к хутору Тихорецкому были обнесены окопами, опутаны проволокой.

Бои здесь произошли по правилам военного искусства с прибавкой особенностей гражданской войны: коварства и жестокости расправы.

Большевики, чтобы подманить поближе добровольцев, выкинули белый флаг, а когда добровольцы им поверили и приблизились на нужное расстояние, они открыли по добровольцам уничтожающий огонь. Зато потом была учинена жестокая расправа с вероломными... У большевиков командование тихорецким узлом находилось в руках офицеров генштаба. Командующий латыш Калнин успел убежать. Его начальник штаба застрелился.

Числа 5—6 июля в хуторе Тихорецком состоялось заседание Рады, на котором впервые перед нами появился человек, приобретший большую известность в гражданской войне, — А. Г. Шкуро. Слыхали мы о нем и раньше как об удачливом партизане в Великую войну, с некоторыми свои-

---

* Продолжение. Начало в № 4—7.

ми причудами. Перед нами предстала миниатюрная фигурка казачьего офицера с нервно-подергивающимся лицом с насмешливой (может быть, даже нахальной) улыбкой.

Он сделал краткий доклад о том, как зачинался и как вырастал его противобольшевистский отряд, как он из глуши горной части Баталпашинского отдела выбрался на его равнинную часть и, наконец, добрался до Ставрополя и как теперь он предъявил ультиматум засевшим в Ставрополе большевикам. Он познакомил нас с содержанием своей прокламации, с которой он обратился к населению Ставропольской губернии: — Мы не против советской власти, мы воюем против большевистских комиссаров-насильников за народную власть.

Рада по выслушании доклада Шкуро постановила командировать в его отряд одного из членов правительства (избрали меня) и одного члена Рады (избрали сотника У-ва, уполномоченного Баталпашинского отдела). Нам поручалось: 1) ознакомиться на месте с состоянием отряда и его настроениями и 2) в свою очередь, познакомить отряд со взглядами правительства и Рады на сущность антибольшевистской борьбы и на организацию антибольшевистских сил.

По железной дороге мы должны были проехать до станции Песчанокопской и затем автомобилем через село Медвежье в село Ладовская Балка, где должен был тогда находиться отряд. Сам Шкуро в отряд с нами не поехал, а должен был выехать туда через станцию Кавказскую, только что занятую добровольцами.

С нами выехал лишь его офицер для поручений есаул Мельников, мрачный молодой человек, исключительно озлобленный против большевиков и вообще против революции... В станице Баталпашинской большевизаны замучили, чуть ли не живым зарыли в землю его старика-отца, достойнейшего педагога Павла Минаевича Мельникова.

Когда мы усаживались на станции Песчанокопской в ожидавший нас автомобиль-грузовичок с пулеметами при пулеметчиках, к нам взобрался пожилой генерал.

— Послушайте, поручик, — обратился он к молодому офицеру, провожавшему его до автомобиля. — Дайте и мне винтовку... Она мне может пригодиться... Хоть будет из чего застрелиться...

Депутат У-в зыркнул на меня:

— Хорош воин... Начинает путешествие с мыслью о самоубийстве.

К вечеру мы подъезжали к селу Ладовская Балка. Люди в нем, видно, привыкли жить в довольстве, хорошо обстроились, просторные усадебные места, обширные сады при них...

За селением на выгоне — лагерь шкуринцев. Лишь в древних военных хрониках можно встретить описание подобных походных лагерей.

— В несколько концентрически расположенных кругов придвинуты одна к другой повозки. Узкие проходы вели на свободную от повозок площадь посредине, где находилась основная масса людей, где очаги котлов, где "кашевары" приготовляли пищу на всех воинов.

Штаб отряда на этот раз помещался в селении в доме зажиточного купца. Встретили нас с интересом, но настороженно: кто? зачем пожаловали?

Пока пили предложенный нам чай, полковник Слащов (начальник штаба) удалился для заслушания доклада приехавшего с нами есаула Мельникова. Вернувшись к нам, Слащов продолжал разговор уже более спокойно и деловито. Спросил о принципах организации кубанской власти, о взаимоотношениях с главным командованием Добровольческой армии. Тут же кратко рассказал, что их отряд почти исключительно состоит из кубанских казаков, все много перенесли и переносят невзгод, но бодрости не теряют. Все у полковника Слащова складно и деловито.

Генерала, нашего спутника, — по дороге выяснилось, что это не кто иной, как вновь назначенный генералом Деникиным губернатор Ставропольской губернии, — Слащов тоже очень спокойно выслушал, в меру обнаружил уважение к его высокому чину, но дал ясно понять, что в отряде впредь до возвращения полковника Шкуро он, Слащов, главный начальник, полномочия губернатора начнутся по взятии главного города губернии Ставрополя. Нам тоже обещал посодействовать взаимному ознакомлению с казаками, когда все будем в Ставрополе, а пока что будем делать остальную часть похода совместно.

Вечером двинулись всем отрядом по направлению к Ставрополю. Ночной привал делали в селе Ничьем, и тут штаб и мы спали вповалку на полу, а в такой обстановке лучше всего понять друг друга.

С рассветом двинулись дальше. Спустились в низину, открытую и ровную. Весь отряд перед глазами. С нами идут главные силы. В стороне на полверсты гарцуют сотни полторы всадников — бригада войскового старшины Солоцкого.

Сил, вообще говоря, мало. Но отдельные части отряда носят громкие названия: бригада, полк. В отряде не было ни одной пушки, было несколько бомбометов, а между тем одиноко трусил на лошади полковник Сейдлер — "инспектор артиллерий".

Главные силы ехали на повозках, или верхом на лошадях. Как каждый вырвался из дому — с чем и в чем был, — так и едут теперь по степям Ставрополья. У тех, кто сумел достать или отбить у большевиков, имеются винтовки. А у некоторых лишь домашние охотничьи ружья. Численно весь отряд едва ли больше 3000, около бригады пластунов, остальное — сборная кавалерия.

На выборку возьму несколько персонажей отряда.

Неподалеку гарцевал на хорошей лошади всадник. Грязная землистого цвета рубаха, разодранная сверху донизу и связанная узлом, изодранные шаровары, на босу ногу чувяки, сбоку шашка. Через прорехи просвечивает тело, обветренное, грязное. Лицо загорело. Как из меди вылит человек.

Другой, сотник Б. По общим отзывам, прекрасный молодой офицер. Сейчас по внешности тип карачаевца в горах у своего коша. Конусообразная войлочная шляпа. Черкеска в заплатах. На ногах карачаевская обувь из сыромятной кожи.

...Подходим к селению Московскому, огибаем околицу, в сторону сельских дворов высылается цепь комендантской сотни. Никому не позволяется врываться в селение. Табором располагаемся на широкой площади. Слащов направляет просьбу сельским властям доставить продовольствие его отряду за время привала. Сельские власти просьбу удовлетворяют, и все выходит, как говорится, чинно-благородно.

С именем Шкуро связано много рассказов о легкомысленном отношении к чужой собственности близких людей и даже его самого. Что было после, не берусь ни утверждать, ни отрицать этого, но в описываемое время, по моему впечатлению, сами они бедствовали, но населения не обирали.

Исключения, конечно, могли быть.

Например, заехали мы во двор почтаря, чтобы переменить лошадей. Хозяйство у него налаженное. В конюшне несколько пар в прекрасном теле лошадей. Пока перепрягали, баба пригласила зайти в горницу выпить молока. Вдруг во дворе шум, скандал. Выхожу на крыльцо, и ясная картина: чин отряда пытается оставить своего заезженного коня, а взять покрепче из конюшни. Почтарь упирается, не дает.

Увидев меня, чин засуетился, застеснялся и быстро выскочил со двора на прежней своей лошади.

Я узнал его, старый знакомый. Был писарем в моей родной станице еще до революции, и за мелкие беды его выпроводили из станицы. За таким всюду должен быть хороший глаз.

...Полковник Шкуро, отправляясь для доклада в Тихорецкую, послал большевистским комиссарам в Ставрополь требование очистить город, иначе угрожал подвергнуть его бомбардировке тяжелой артиллерией.

Как уже было выше сказано, ни одной пушки в отряде не было, было лишь всего несколько бомбометов, угроза была сплошным блефом, но она была сделана, и были назначены сроки. Эти сроки приближались, и теперь отряд шел занимать город. Когда солнце склонилось к западу, мы двинулись из селения Московского по направлению к Ставрополю.

Существует очень распространенное мнение о так называемом обаянии личности отдельных людей.

В гражданской войне приходилось наблюдать особый гипноз имени. К таким именам нужно отнести имя А. Г. Шкуро. Как будто даже не зря занимался он с такой настойчивостью фонетикой своего фамильного имени:

— Шкура — Шкуранский — Шкуро...

В момент первого знакомства со Шкуро вам прежде всего бросается в глаза его миниатюрность, подвижность, непосредственность, и, говоря правду, какая-то общая незначительность. Мало ли таких забулдыг-парней встречается?.. Между тем, заочно, при часто повторяемом имени, создается представление о суровом карателе, неумолимом мстителе и беспощадном преследователе... Шкуро...

Я не берусь утверждать, что все, что я сейчас приведу, абсолютно точно, но в штабе Шкуро утверждали относительно без желания поставить себе и своему вождю в заслугу:

— За весь длительный и обильный всяческими осложнениями поход Шкуро по Ставрополью и северной части Кубани только один раз был назначен военно-полевой суд, который приговорил подсудимого к высшей мере наказания — смертной казни.

Это был суд по делу комиссара Петрова, прославившегося жестокостью.

Он бежал из Ставрополя с деньгами и пулеметами на автомобиле. Его с четырьмя спутниками захватили в селе Кугульта. Суд был составлен при председателе офицере с юридическим образованием и из выборных стариков от каждого полка. Этот суд приговорил всех к смертной казни. Шкуро этого приговора не утвердил, а перенес дело на разрешение "громады" отряда. Эта "громада" признала шофера с его помощником невиновными, и их сразу отпустили на все четыре стороны. В отношении Петрова Шкуро приговор утвердил, а двоим его помощникам заменил высшую меру наказания поркой. Петров перед смертью попросил отправить его тело матери; эта его последняя просьба была выполнена.

Комиссары испугались тени шкуринцев.

В лунную ночь с 8 на 9 июля мы приблизились к Ставрополю и остановились на господствующей над городом возвышенности.

Здесь уже поджидала депутация города из представителей всех слоев населения: от купцов до рабочих включительно.

Полковник Слащов, действовавший именем Шкуро, принял представителей, поблагодарил, предложил всем депутатам возвратиться к пославшему их населению и оставаться спокойными.

Губернатор Уваров выступил на сцену и в автомобиле с небольшой охраной отправился в город принимать приветствия "восторженного населения".

Под прикрытием ночи отряд втянулся в город и в нем потонул. Сила его была недостаточной, чтобы обслужить должным образом защиту такого города, как Ставрополь.

Штаб отряда расположился в здании мужской гимназии. Пристроились там и мы с членом Рады У-м.

На другой день прибыл в Ставрополь полковник Шкуро и тотчас же занялся развертыванием своего отряда в дивизию согласно указанию штаба Добровольческой армии.

Мне пришлось быть при очень характерной сцене.

Шкуро сидел за столом и закусывал. Ему подали жареную курицу. Он пригласил меня разделить трапезу.

В комнате толкотня. Входят и выходят адъютанты. Заходит войсковой старшина Солоцкий, член известной офицерской фамилии на Кубани, но о представителях старшего ее поколения установилось мнение как о старорежимных скулодробителях.

Этот же, из молодых, до мобилизации на войну был студентом политехникума, и вообще вопреки семейной традиции из него получился культурный и вдумчивый казачий офицер. При общей тенденции к устрашающей врага бутаде в отряде он мирился со своим высоким наименованием бригадного, но тут, когда поставлен был вопрос о формировании подлинных воинских частей, молодой Солоцкий явился к начальнику с отказом от предложенной ему должности командира бригады:

— Послушай, Андрей Григорьевич. Ну, какой я бригадный, я до полка еще не дорос.

— Што-о? А кого ж я назначу бригадным?.. Ты об этом подумал? Нет у меня более достойных...

— Как хочешь, а я не могу...

Резонились долго и, наконец, столковались: Солоцкий согласился принять полк, а о подходящем кандидате на должность командира бригады Шкуро обещал еще подумать.

По уходе Солоцкого тут же при мне доложили начальнику отряда о неожиданном затруднении в вопросе об обмундировании офицеров.

Все они предвкушали возможность немного почиститься и приодеться. Сильно оборванным из них было приказано пока совсем не показываться на улицах города. Полковые каптенармусы бросились на розыски сукна и другого материала, чтобы тут же приняться за изготовление черкесок, бешметов и пр. Они напали на значительное интендантское имущество в городских складах. Но губернатор Уваров уже, оказывается, упредил шкуринских каптенармусов и поставил стражу у этих интендантских складов и отказался выдать распоряжение об отпуске нужных материалов из складов.

Шкуро вскипел и приказал "взять" из складов сукно и все необходимое для обмундирования.

Я видел, какая нужда была в том, чтобы прикрыть буквально подлинную наготу партизан, и у меня не нашлось слов, чтобы остановить Шкуро. Бездушный формализм и бестактность Уварова била в глаза.

У генерала Деникина об этом случае в "Очерках" было сказано: "Партизаны поделили склады"... Если бы не было уваровской попытки отказать голому партизану в рубахе, то не пришлось бы писать и этой фразы...

Сам генерал Деникин дал убийственную общую характеристику этому своему поистине анекдотическому губернатору: он успеет отдать ряд "оглушительных приказов" — один "об аннулировании всех законов Временного правительства", другой "об уничтожении преступников на месте преступления" и третий "о вознаграждении протореи и убытков помещиков" и т. п.

Я наблюдал, какое впечатление получалось у ставропольских обывателей при чтении первых приказов Уварова. (Он оказался очень плодовитым на них).

В одном из первых приказов он оповещал, кого он избрал себе в сотрудники по охране города: выкопал самого старорежимного пристава и вручил ему всю полноту полицейской власти...

Большевистские комиссары, убегая из города, перед тем сильно хлопнули дверью: порубили и расстреляли многих из старших офицеров в городе, активных людей из купечества и пр.

Город Ставрополь мнился большим административным центром: в нем церковная кафедра архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского, контрольная палата, также общая для Ставропольской губернии и Кубани, а кроме того, и все другие свои губернские власти, но от города тянуло плесенью времен и виделись страшные гримасы современности.

Избавление от большевистской — "диавольской" — власти Ставрополь собрался праздновать на просторной площади перед духовной семинарией.

Подготовка к торжественному служению благодарственного Богу молебствия. Архиерей и прочее духовенство в светлых ризах. Середина лета, июль месяц, но все торжество — пасхальное. Перед началом служения восторженное архипастырское слово.

— Христос Воскресе, братие и сестры!

И опять:

— Христос Воскресе, братие и сестры!

И в третий раз так же.

В ответ трижды рокот народной волны:

— Воистину Воскресе!

Нервы не выдерживают. Многие рыдают.

Взглянул я искоса на рядом стоявшего главного виновника торжества "волка" Шкуро, а у него слезы в три ручья, и он уже не пытается скрыть их. Фигурка же его беспомощная, слабая.

В доверительной беседе я как-то спросил полковника Г., интенданта отряда, его мнение о Шкуро.

Сам полковник Г. с большим служебным стажем и летами много старше Шкуро, но его восхищение начальником отряда переходило границы:

— Это наш Суворов...

У Шкуро были свои чудачества. Личный его флаг начальника отряда был очень оригинальный: на черном фоне волчья голова с открытой пастью. У самого Шкуро и у его близких шапки изготовлены из волчьего меха и т. д.

...Позже Шкуро растворился в овациях толпы, взбаламученной гражданской войной. Писаки-проходимцы курили ему фимиам... При других условиях, быть может, лучше сохранился бы человек..

Когда пообчистились немного офицеры, приоделись, был устроен торжественный завтрак: Шкуро, Слащов и другие офицеры, кто не был на позициях, и мы с членом Рады У-м.

В то время, как в основной массе отряда много пожилых казаков, среди офицерства преобладала молодежь — пожилых всего три-четыре человека.

За завтраком, вопреки ожиданию, Шкуро почти ничего не пил, да и вообще офицеры отряда выпивали умеренно. Среди молодежи много наивных хороших лиц.

Весь поход, весь подвиг, который они совершили, для них тяжелое, но неизбежное. Если не ушли бы из станицы в лес, не образовали бы отряда и не вступили бы, наконец, в борьбу, все равно их захватили бы, издевались бы над ними, "поставили бы к стенке", а теперь еще неизвестно, кто кого...

...В отряде Шкуро сложилась своя конституция. Офицеры и сам начальник отряда в бою командовали, держали суровую боевую дисциплину. Но в момент решения общих вопросов призывался к участию весь народ отряда — старики.

По казачьей терминологии слово "старик" имеет двойное значение: по возрасту "старый", но еще и тот, которого выбрали, уполномочили на решение общественных вопросов: "выборные старики", здесь в отряде — уполномоченные "громады".

Выше было отмечено обращение к выборным от громады в случае суда над комиссаром Петровым.

К авторитету стариков Шкуро обращался часто для сдерживания отрядной массы от мародерства и другого насилия в отношении мирного населения и пр.

Установление в отряде Шкуро обычая обращаться в ответственные тяжелые моменты к авторитету выборных стариков, громады не трудно уразуметь и усмотреть господствовавшее в отряде стремление к народности, к подчинению всего движения народному началу, народной воле, как это было у казаков встарь.

...Ставропольские торжества оказались кратковременными. Большевики скоро опомнились, увидели и узнали малочисленность шкуринцев и повели наступление с трех сторон. В поисках подкрепления командование объявило призыв к оружию офицеров, проживавших в Ставрополе. Были также посланы мобилизующие кадры в соседнюю кубанскую станицу Новорождественскую. Но если вообще мобилизации в гражданскую войну — вопрос лишь случая и удачи, то здесь, при трехдневном существовании власти да еще при тех ее указаниях, какие обнаружил губернатор Уваров, — при этих условиях мобилизация не обещала быть успешной. Офицерский полк оказался не боеспособным и стал к тому же рассасываться. Мобилизованные казачьи сотни тоже оказались неустойчивыми.

Притихшие было и притаившиеся в городе большевизаны подняли голову и принялись за работу по разложению свежемобилизованных частей.

Со Слащовым мы выехали на окраину города. Линия фронта перед глазами, тянется ниточкой. Вялая перестрелка. Пока Слащов осматривал в бинокль позиции, со стороны большевиков из леса выскочил всадник и промчался взад и вперед вдоль окопов, очевидно, передал какие-то приказания.

Проезжаем село Надежинское, пулеметчики и все другие при оружии. Жители же селения сидят на завалинках за дворами, разговаривают промеж себя. Ни к фронтовой линии, ни к нашим пулеметам как будто совсем нет интереса.

На позициях казаки устроились по-свойски, как будто выехали к себе на участок для ранневесенней пахоты или сева.

Те, что в окопах, держат линию, а метров на двести ниже в ложбинке водовозка, один казак чистит картофель, другой дробит мясо на порции, это кашевары готовят обед.

Я подошел, спрашиваю, какой станицы, они в свою очередь: а вы какой?

Начало разговора для казаков обычное, оказались общие знакомые у меня с ними, разговор мог бы затянуться на долгий срок, но подъехал Слащов с позиции, поехали в город. В селе Надежинском наш автомобиль задержали фуры со снопами хлеба, хлеборобы на всякий случай спешат свезти сжатую пшеницу с полей к дому поближе.

Жизнь в здании гимназии сопряжена была со многими неудобствами, и мне была отведена комната в гостинице. Провел несколько вечеров у знакомых в городе. Но вот, кажется, 15—16 июля утром прибежал ординарец штаба с предложением перейти с вещами в штаб-квартиру, то есть в гимназию. Категоричность предложения не оставляет никакого сомнения, что дела наши — дрянь.

Действительно, мобилизованные казаки станицы Новорождественской оставили позиции, того и жди, большевики ринутся в прорыв. Шкуро нервничает. Хуже того: приказывает вынести ему из комнаты кавалерийское ружьецо, щеголевато отделанное накладным серебром, и вскидывает ремень через плечо.

Это уже из рук вон плохо, когда командующий отрядом вооружается винтовкой.

Мне предложено держаться штаба и со двора гимназии не отлучаться. Кругом суета. Строятся в ряды все, кого только можно собрать, и высылаются на фронт. Город подвергнут довольно интенсивной артиллерийской бомбардировке большевиков.

Шкуро садится на коня и с конвоем мчится за город. Во двор въезжает знакомый автомобиль с двумя пулеметами. Спокойный начальник штаба Слащов сходит с сиденья рядом с шофером.

— Ничего, все устроится. — Это он с шофером и пулеметчиком держали обнаженный новорождественцами фронт. — Теперь Шкуро их далеко отгонит... банды неприятеля..

...На другой день прибыл по железной дороге в Ставрополь батальон корниловцев, и положение упрочилось.

Мне с моим товарищем по делегации больше нечего делать в Ставрополе. Попрощались со Шкуро, со штабом, с офицерами и казаками, с какими установилось знакомство, и выехали из Ставрополя с поездом, накануне привезшим добровольцев.

(Тут вместе со мной выехал из Ставрополя и А. И. Кулабухов, в свое время в станице Успенской покинувший нас и пробравшийся оттуда к своей семье в Ставрополь, он знал, что он будет жить у тестя в Ставрополе).

На станцию Тихорецкую мы прибыли в разгар подготовки командованием Добровольческой армии Екатеринодарской операции.

Была занята станица Пластуновская как крайний пункт по направлению к Екатеринодару, в 37 верстах от него. Шло сосредоточение войск для главного удара.

В Армавире также жили приливами надежд и разочарований: 14 июля был занят Армавир, а 17-го мы его оставили. Ликование городского населения сменялось оцепенением при жестокостях большевистской расправы.

К нам в Тихорецкую прибыли вырвавшиеся оттуда известные местные деятели. Среди них был хорошо мне знакомый местный муниципальный деятель К-в. При встрече он указал мне на странность кубанской административной реакции на большевистское в этом отношении головотяпство: предназначение на должность атамана Лабинского отдела офицера гвардейского дивизиона, а на должность Армавирского городского головы какого-то старого отставного полковника, очень правого политического уклона.

Еще при старом режиме общественная жизнь в Армавире била живым ключом. Кроме центров кооперативного объединения обоих видов — кредитного и потребительного, были влиятельные профессиональные объединения: общество торговых служащих, общество взаимопомощи учащихся и учивших в учебных заведениях Лабинского и Баталпашинского отделов; особо выделившееся на Северном Кавказе Армавирское общество попечения о детях, основателем которого был такой замечательный общественный деятель, как В. И. Лунин, и т. д.

Все эти общества сумели еще при старом режиме утвердиться и занять такое положение, что даже старая чиновная областная власть считалась с армавирским общественным мнением. Издавалась влиятельная в крае газета.

Сюда даже при старом режиме назначались атаманами отделов и их помощниками люди по особому отбору.

В Лабинском отделе — несколько станиц с населением свыше 20 000 душ, которые имели у себя средние учебные заведения — гимназии, реальные и сельскохозяйственные училища и др.

Систему городского самоуправления, установленную Временным всероссийским правительством и функционировавшую вплоть до нашего выхода в поход, большевики отменили. Эта система не была восстановлена и Бычом. Создано было особое временное положение об управлении городами впредь до разработки и утверждения особого о них положения.

В силу этого временного положения городским головой Армавира был действительно назначен какой-то отставной полковник Гвоздев, человек очень правого политического уклона... Неоднократно потом Кубанскому краевому правительству придется останавливаться на деятельности так неудачно назначенных в Армавир представителей власти.

За время моей поездки в Ставрополь председатель правительства Быч (в сотрудничестве с бывшим членом правительства Манжулой) успел выпустить приказ и по моему ведомству земледелия, злополучный приказ о трети урожая в пользу владельца земли, запаханной в захватном порядке земледельцами. Стоимость земли устанавливалась, таким образом, повышенная и затемнялся, к тому же, предустанавливаемый революционный принцип отчуждения частновладельческой земли.

В кубанской практике этот приказ, впрочем, не имел большого значения. По своем возвращении я издал особые разъяснения к нему, смягчающие его одиозность. В самом приказе содержались указания, что он действителен лишь для сбора и распределения урожая текущего сезона. Подчеркивалось, что проведение земельной реформы должно быть произведено согласно поста-

новлению Рады 12 декабря 1917 года, по которому частная собственность на землю отменяется. Все земли сельскохозяйственного назначения должны перейти к работающим на них казачеству и крестьянству.

Генерал Деникин ознаменовал вступление на кубанскую территорию выпуском письменного обращения на имя кубанского атамана с указанием на необходимость для атамана и правительства предварительно составить схему гражданского управления областью и военных мероприятий с тем, чтобы общие схемы и планы были бы предварительно обсуждены совместно с ним, генералом Деникиным, равно как и способ проведения их в жизнь.

Со своей стороны он подчеркнул необходимость:

I. Полного напряжения сил Кубани для скорейшего своего освобождения от большевиков.

II. Все первоочередные части военных сил Кубани должны входить впредь в состав Добровольческой армии для выполнения общегосударственных задач.

III. В дальнейшем со стороны освобожденного кубанского казачества не должно быть проявлено никакого сепаратизма.

Тон обращения, таким образом, содержал признаки стремления к верховному руководству, к диктату, что станет потом навязчивой идеей командования Добровольческой армии во все время гражданской войны: не сожительство и сотрудничество сил, объединенных единством цели, а сосуществование под знаком субординации высшего руководства над низшим.

То обязывались не вмешиваться во внутренние кубанские дела — теперь требовали на предварительное рассмотрение схемы и планы гражданского внутреннего управления.

Наконец, строгая директива "никакого сепаратизма" — как бы не забывая любовь по строгому приказу.

Как реакция на это "обращение" генерала Деникина последовало со стороны Быча и Савицкого предложение атаману подписать приказ — и атаман его подписал — о призыве в войска из освобожденных станиц служилых казаков всех очередей, о порядке прохождения мобилизации с распределением мобилизованных по привычным кубанским полкам, распределением по ним же офицерского состава и т. д.

Как очень серьезное соображение в пользу этого предупреждающего распоряжения было следующее постановление: в гражданскую войну было очень заметной слабостью высших военных начальников содержать при себе многолюдные конвои, каждый из них охотно брал в свой конвой казаков, что затрудняло формирование боевых частей.

...Новое негодование со стороны главнокомандующего, усмотревшего в приказе опасный психологический момент, который может вызвать расстройство добровольческих частей.

Тяжелым осадком ложилась вся эта наша общая неустроенность на душу, утомленную зрелищем трудно передаваемых картин жестокости и обнаженно цинического отношения к человеческой жизни. Садизм вывороченной наизнанку человеческой души. Русские люди с ожесточением уничтожали друг друга.

Путь страдания, героизма и крови пройден кубанцами и добровольцами от Екатеринодара до Мечетинской. Теперь шли обратно, и, быть может, завтра снова вступим в Екатеринодар, а нет уверенности, что вступивши в него, не начнем союзными усилиями ломать друг другу ребра и никому не дано знать, где будет враг и где друг в грядущей сваре. В личном порядке возникало желание: бросить, отойти, по крайней мере, тогда не будет ответственности. Но никогда малодушие не являлось гражданской доблестью. В силу своих возможностей нужно бороться.

Развитие Екатеринодарской операции неожиданно натолкнулось на хорошо руководимое сопротивление екатеринодарской большевистской военной группы. В то же время со стороны Ростова обнаружилась большевистская военная группа в несколько десятков тысяч, оттесненная в эту сторону наступавшими с Украины немцами. Состав ее был довольно пестрый: матросы, латыши, китайцы и др. Но командующий группой оказался крупный военный самородок, кубанский офицер из фельдшеров Сорокин, казак левобережной (по Кубани) станицы Петропавловской. Для него поле разыгравшихся здесь боев — родные места. Обнаружив, что по линии железной дороги Тихорецкая — Екатеринодар имеются только слабые заслоны, а главные силы ушли, — с одной стороны — под Екатеринодар, а с другой — ведут бои под Армавиром, — он повел свои части на прорыв добровольческого фронта, чтобы уйти со своей группой, оказавшейся в окружении, за Кубань. Напряженные бои длились с 14 по 25 июля. Фактически Сорокин оказался в тылу добровольческих сил. На Тихорецкой станции наступило оцепенение. Севшие было в поезда, чтобы не опоздать в Екатеринодар, вышли из вагонов. В одно очень смятенное утро приготовились даже грузить в вагоны для эвакуации раненых. Но, переправив за Кубань свою главную массу, Сорокин ушел туда же за нею.

Самоучка из фельдшеров, большевистский главковерх получит потом лестную аттестацию от своего противника. Генерал Деникин в своих "Очерках русской смуты" называет его "крупным военачальником".

Счастье к нам вернулось, но очень тяжкой ценой: были понесены большие потери и... ущерб для авторитета командования. Сумятица была та-

кая, что в "сводке" штаба армии отмечались потери от стрельбы по своим.

Вечером 2 августа Кубанский Корниловский конный полк первым вошел в Екатеринодар, а затем — Запорожский и Уманский кубанские полки.

Корниловским полком в это время командовал подполковник Науменко, впоследствии генерал, походный атаман и за границей — Войсковой атаман.

Утром 3 августа вступили в Екатеринодар также добровольческие части. Прибыл на вокзал и штаб армии.

Екатеринодарская группа большевистских войск вслед за сорокинской отступила за Кубань. Общая масса их была много крупнее тех небольших отрядов, с которыми мы вышли из Екатеринодара, и много больше группы генерала Корнилова, вышедшей из Ростова.

Рада и правительство поездом двинулись 2 августа вечером из Тихорецкой в Екатеринодар. По пути останавливались на станциях и обменивались приветствиями с делегациями больших станиц, выходившими на вокзалы нас встречать.

Немало было спора между добровольческой верхушкой и кубанской о церемониале въезда в Екатеринодар.

Фактически генерал Деникин въехал первым, но держался со штабом на вокзале. Тут же на вокзале утром на другой день председатель Рады Рябовол и председатель правительства Быч устроили ему "встречу" и в его лице приветствовали Добровольческую армию.

При въезде в город во главе колонны были генерал Деникин рядом с Кубанским Войсковым атаманом А. П. Филимоновым. Во второй паре — председатель правительства Быч и начальник штаба Добровольческой армии генерал Романовский и т. д. В нисходящем порядке пары и четверки добровольческих высших офицеров с нами, членами правительства и пр. По улице шпалеры войск и много народу. Колонна двигалась не спеша по направлению к войсковому собору с загибом к атаманскому дворцу. В соборе было совершено торжественное благодарственное Богу молебствие, затем на площади — парад войск и т. д.

Вечером за общим обедом распределение мест по тому же церемониалу.

Застольным речам за этим обедом ораторы, видно, придавали особое значение.

Атаман Филимонов в своей речи давал успокоительные заверения, лил бальзам на душу вождей добровольчества.

Кубань отлично сознает, что она может быть счастлива только при условии единства со своей Матерью Россией...

— Закончив борьбу за освобождение Кубани, казаки будут биться в рядах Добровольческой армии за освобождение и возрождение великой единой России.

— Но роль атамана по кубанской конституции декоративная, по преимуществу для представительства...

Председатель правительства Быч в этот раз даже читал свою речь по бумажке, отмечая заслуги Добровольческой армии в борьбе ее со всероссийской анархией. Он устанавливал "готовность кубанцев сотрудничать с армией": "...стремление кубанцев устраивать свою жизнь на началах народоправства является их основным стремлением"...

Председатель Рады Рябовол оттенил: "Краевая Рада соберется и по своему крайнему разумению выскажется, какую кубанцы желают установить у себя власть".

Генерал Деникин в речи здесь на обеде от "души пожелал", чтобы освобожденная Кубань "не стала вновь ареной политической борьбы" и как можно скорее приступила бы "к творческой работе".

Как он, генерал Деникин, понимал эту "творческую работу", он успел изложить в своем письме, которое послал атаману Филимонову за несколько дней до этого обеда вместе с извещением о взятии Екатеринодара. В нем он выражал "уверенность", что "Краевая Рада создаст единоличную твердую власть, состоящую в тесной связи с Добровольческой армией", "не станет ломать основного законодательства, подлежащего коренному пересмотру в будущих всероссийских законодательных учреждениях" и "не повторит социальных опытов, приведших народ ко взаимной дикой вражде и обнищанию".

Таким образом, уже на торжественном обеде показались коготки и с той, и с другой стороны.

Была еще устроена совместная встреча генералу М. В. Алексееву, тоже устраивался обед и говорились речи.

Кончился Второй Кубанский поход.

Главное командование Добровольческой армии утвердило особый знак — орденского значения для участников "Ледяного похода" — меч в терновом венке на георгиевской ленте с розеткой из национальных цветов. Знак получали одинаково как добровольцы, так и кубанцы. Вообще говоря, с фасадной стороны у нас было кое-что демонстративно объединяющее, но в глубине процесс разъединения действовал, не останавливаясь.

Главное командование Добровольческой армии взяло за основу своей власти "положение о полевом управлении войск" строго закона, делая отсюда выводы, что органы Кубанского краевого правительства вообще должны являться лишь подсобными исполнителями для Армии.

Нечего и говорить, что этот явочный порядок установления подобных "законных взаимоотношений" не мог способствовать нормальному течению дел на Кубани.

Л. Л. Быч, председатель Кубанского правительства, продолжал у нас заведовать "внешними сношениями", "внутренними делами", "продовольствием и снабжением". По всем делам именно он продолжал наиболее часто сноситься с Главнокомандующим и его помощниками. Атмосфера взаимной неприязни не рассеивалась, а больше сгущалась, особенно с того момента, когда на руководящих постах при генералах Алексееве и Деникине появились в составе руководящей добровольческой верхушки генералы Драгомиров и Лукомский. Они в походе не участвовали. Их старорежимные повадки вызывали у кубанцев сомнение и подозрение в опасном сдвиге к "реакции" всего Главного командования.

Недоразумения множились и на местах — в станицах. Старшие командиры проходивших частей войск назначали своих начальников гарнизонов, которые часто действовали, пренебрегая установившимися требованиями местного общежития, высокомерно и нередко бестолково обращаясь с представителями местной выборной власти — станичными и хуторскими атаманами, сельскими и аульными старшинами и т. д.

Яблоком раздора часто являлась "военная добыча". На узловых железнодорожных станциях захватывались продовольственные грузы, а также застрявшие вагоны с лесом, мануфактурой, с сахаром и пр. Позже в своих "Очерках русской смуты" об этом генерал Деникин запишет: "Для реализации военной добычи генерал Алексеев создал особую комиссию. Дело пошло, к сожалению, плохо... Проходили недели, месяцы — грузы портились, расхищались". "Большинство членов комиссии, — пишет один из членов ее, — лица совершенно неподготовленные и бесполезные, один заведомо вредный и невежественный..." — "Вас испугало, — отвечает ему другой, — что разные недостойные люди начинают свивать себе гнездо и паутиной интриг и личной выгоды опутывать святое дело... Но разве вы только вчера родились и не знаете, что, к сожалению, на одного человека приходится тысяча негодяев..."

В итоге "за ближайшие месяцы — август, сентябрь — комиссия успела реализовать из числа многомиллионного имущества всего на один миллион рублей"...

12(25) августа в особняке, занимаемом Кубанским атаманом А. П. Филимоновым, собрались на первое общее заседание возглавители Добровольческой армии и Кубанского правительства.

Именно здесь среди нас впервые появились генералы Драгомиров и Лукомский. За час до открытия заседания завязался общий разговор, и тут многие из нас были озадачены откровенными заявлениями именно генерала Драгомирова: "Что бы там ни говорили, а Россия должна вернуться к своим историческим формам бытия. Конечно, неизбежны кое-какие коррективы"...

У кубанцев заронились сомнения: "Исторические формы бытия"... Это что же?.. Старая монархия?.. Итак, лицо, призванное к руководству Добровольческой армией, не стесняясь, демонстрирует при нас свои реставрационно-монархические взгляды? Лишь допуская "кое-какие коррективы"?..

Можно было подумать, что он высказался лишь по новости для него обстановки, не учел, что среди кубанцев о своих заветных чаяниях нужно пока помалкивать. А как же другие?.. Старые наши знакомые?..

...В официальную часть программы этого заседания Войсковой атаман, по соглашению с правительством, поставил вопрос о воссоздании кубанской армии. Из присутствующих генералов — Алексеев, Деникин и Романовский поставили свою подпись под актом соглашения в станице Новодмитриевской, важным пунктом которого для кубанцев было воссоздание кубанской армии. Для тех и других из собравшихся было ясно, что сейчас это вопрос не только стратегического значения, но и значения иного: для одних — как удержать, а для других — как обратно получить надежную опору для достижения целей борьбы с большевизмом согласно своему определению.

...Один из присутствующих на собрании добровольческих генералов (Лукомский) в последующем образно выскажется об этом соблазнительном моменте: "Добровольцы не верили, что армия Быча и Рябовола пойдет с ними на Москву"... В их глазах, следовательно, две одиозные фигуры закрывали всю Кубань. До Москвы еще было очень далеко, а уже через 3—4 месяца отставка Быча станет непреложным фактом кубанской действительности...

Псевдодальновидные расчеты генералов, углубляя взаимное недоверие, ослабляли значение уже достигнутых общими усилиями результатов.

Опасное намерение, глубоко ошибочный расчет внезапного удара сплеча обнаружился тотчас, как было открыто данное совместное собрание командования добровольцев и кубанцев, первое общее собрание после "Ледяных походов".

Л. Л. Быч, чтобы преподнести добровольцам неприятное для них напоминание, что пришло время для воссоздания кубанской армии, так как Екатеринодар был уже занят, подбирая, по-видимому, более мягкие выражения, привел, между прочим, и такой аргумент:

— У кубанских казаков наблюдается неудовлетворительное самочувствие, когда их разъединяют и вкрапливают одиночками или малыми группами в добровольческие части...

Генерал Деникин, не дослушав речи Быча, порывисто поднялся и в сильном волнении выпалил:

— Я не допущу, чтобы здесь оскорбляли доблестное кубанское казачество! — и быстрыми шагами удалился из собрания. Генерал Романовский,

начальник штаба, последовал за ним. Все другие продолжали молча сидеть некоторое время. Через какой-то момент заговорил тихо и спокойно генерал Алексеев, убеждая не придавать выходке особого значения. Что-то успокоительное произнес и генерал Лукомский. Но разговор не наладился. Так и разошлись ни с чем.

К рядовому казачеству у Деникина неизменно доброе отношение, но, по преимуществу, как к боевому материалу: "Элемент храбрый и надежный"...

...Екатеринодар был занят. Большевистские войска отступили за Кубань, но они не были разбиты. Группа их войск под командой казака станицы Петропавловской (как раз данного района Закубанья) Сорокина сохранила боеспособность, чтобы в ближайшие дни "воспрепятствовать войскам генерала Эрдели форсировать реку Кубань и нанести им достаточно тяжелый урон". Так называемая Таманская их группа войск задержалась на левом берегу реки Протоки у станицы Славянской, скоро оправилась и, сохраняя боеспособность, обороняясь, отступила через Новороссийск на Черноморское побережье, а оттуда через Хадыженский перевал вышла к станице Белореченской и таким образом сблизилась с частями главковерха Сорокина.

На левом берегу Кубани с ее притоками реками Белой, Лабой, Урупом и другими на территориях Лабинского, Майкопского и Баталпашинского — линейских отделов — с центрами городами Армавиром, Майкопом и большими станицами Лабинской, Михайловской, Урупской и другими происходили кровавые бои в течение августа, сентября и октября.

По данным Главного командования Добровольческой армии, силы Северо-Кавказской большевистской армии исчислялись в сентябре 1918 года свыше 90 000 бойцов при 124 орудиях, которым противостояли 35—40 000 штыков и шашек Добровольческой армии при 89 орудиях. Борьба при этом была упорная. Часто станицы, сегодня занятые одними, завтра переходили в руки других.

Что происходило в других станицах?

Еще незадолго до приближения фронта в каждой станице и в хуторах образовывались повстанческие отряды с заранее намеченными командирами, вахмистрами, урядниками-взводными и пр., свои пластунские части, своя кавалерия, каждому определялась его роль... Если отряд "красных" в станице был не особенно сильным, выступление повстанцев делалось, не ожидая прихода "белых"; в другом случае выступали уже в поддержку "белым", пришедшим в станицу, и вместе с ними гнали "красных". Если "красные" успевали получить подкрепление и занимали станицу, повстанческие отряды отступали уже с "белыми", а над оставшимися семьями "красных" творили суд и расправу, как правило, с жестокостью, с издевкой. "Беги! — предложили приговоренному к смерти старому бывшему атаману станицы. — Уйдешь — твое счастье..." Бросившегося бежать атамана один из судей же догнал и снес ему шашкой голову. Свидетели сцены были поражены, что дородная атаманская фигура уже без головы пробежала еще некоторое расстояние и лишь потом рухнула на землю...

Когда станицу обратно занимали "белые", то расправа происходила и с другой стороны.

Случалось, что вновь занимали станицу "красные", опять волна расправы большевистской, еще более жестокой.

Наученные горьким опытом, уходили теперь вместе со своими "повстанцами" и их семьи, с домашним скарбом, иногда даже с живностью, со всем, что успевали захватить. Да так неделями и месяцами блуждали табором в тылу своих, в ожидании, когда вновь отвоюют родную станицу.

Конспирировали теперь обе стороны: и возлагавшие надежду на белых, и сочувствующие красным. Творились тягчайшие уголовные преступления, по понятиям, конечно, нормального времени.

В жизнь проник звериный обычай. Лично тебя пока что не трогают, молчи, таись, придет время — посчитаемся... Чем ниже по моральному облику был человек, тем более звериную форму принимали его поступки. Одного такого в родной станице принуждены были арестовать свои же станичные власти и отправить в город в тюрьму, там он заразился тифом и умер. Отец привез тело в станицу похоронить. Ни одна душа из станичников, кроме родного отца, не пошла за гробом.

...Кровавой борьбой была охвачена вся жизнь на Кубани. Могли ли мы добровольцам (или добровольцы нам) поставить вопрос ребром: или соглашение, или разрыв? Конечно, нет.

...Трудно было тому же Бычу после описанной выходки генерала Деникина идти по встретившейся надобности снова в штаб главнокомандующего для "совместного рассмотрения вопросов". Но Быч это делал, и другие это делали.

Чтобы помочь каждому члену правительства освободиться от нежелательных ведомственных сотрудников, чтобы с большей осмотрительностью подобрать новый штат служащих, Совет Краевого правительства в начале же августа постановил: считать уволенными со службы всех чиновников, не отказавшихся от службы у большевиков, предложив, однако, всем желающим из них подать прошение об обратном приеме на службу. Мера в целом оказалась целесообразной, вызвавшая, однако, в отдельных случаях недоразумения и даже обиду.

...Переходя в дальнейшем к изложению фактов из жизни других краевых ведомств за этот период — перед новой Краевой Радой, уместно

будет напомнить, что Кубанское краевое правительство по действующему тогда "положению о высших органах" управления (1917 г.) не было в обычном смысле объединенным правительством. Общеправительственная ответственность перед Радой была установлена позже, теперь же правительство состояло из председателя и членов правительства, избранных — каждый самостоятельно — Законодательной Радой. Действия их по своим ведомствам были в известной степени автономны. За общие решения в Совете они несли ответственность лишь как за решения, вынесенные по принципу большинства. В этом заключались большие неудобства: чувство общекубанской солидарности иногда заставляло молчать, где по содержанию делаемых от имени правительства заявлений не все соответствовало общему мнению кубанцев. Перед лицом посторонних не хотелось обнаруживать внутреннюю кубанскую склоку.

Зато позже, когда отношения начали сильно обостряться, Быч как-то не без основания бросил фразу:

— Мы съедаем друг друга... Мы импотентны...

Л. Л. Быч при таких взаимоотношениях членов Совета правительства стремился изолировать от нашего влияния наибольший круг деятельности руководимой им лично правительственной работы: по делам внешних сношений, внутренних и продовольствия. С этой частью правительственной деятельности мы знакомились часто лишь "постфактум", а "предварительно" лишь в тех случаях, когда Бычу приходилось обращаться в Совет правительства за санкцией проектов ведомственных штатов, легализации смет и т. п.

Примечательным было в этот период тесное сотрудничество Быча с Кулабуховым.

Еще совсем недавно А. И. Кулабухов держался наших — линейских взглядов, тем более, что и по происхождению он был казаком старой линейской станицы Новопокровской... Не хотелось бы здесь распространяться о человеке, который жестоко впоследствии пострадал трагически, тем не менее объективность требует отметить, что устойчивостью взглядов он не отличался...

Быч в описываемое время ему покровительствовал, и Кулабухов буквально приклеился к Бычу и во всем творил его волю.

Я уже рассказывал, как поначалу (после возвращения на Кубань) Бычем, в сотрудничестве с Савицким, производилось восстановление власти старорежимных атаманов в Кавказском и в Лабинском отделах. Теперь Кулабухов продолжал то же. Старые полковники ставились во главе всей "земской" работы освобождаемых от большевиков отделов — Екатеринодарского, Ейского, Таманского и др. В городах назначались "головы" и члены управы по какому-то особому признаку определяемой их "деловитости".

Правда, через некоторое время в Екатеринодар был вызван бывший армавирский городской голова Колычев, и под его возглавлением был создан при председателе правительства особый отдел законодательных предположений по ведомству внутренних дел, где г. Колычев занялся разработкой "нормального типа" городского самоуправления в Кубанском крае, а впоследствии, уже при нашем "линейском" правительстве, также и положения о местном "земском" самоуправлении.

...Синодик прегрешений этого периода ведомства внутренних дел в отношении периодической печати был довольно тяжелый: до закрытия типографий, навешивания замков на двери редакций и типографий и накладывания казенной печати включительно.

По приказу Кулабухова (24/X 1918 г.) члену правительства по внутренним делам присваивалось право "закрывать газеты" за статьи, "вызывающие недоверие к краевой власти и затрагивающие представителей соседних дружественных новообразований".

Впрочем, в одном отношении здесь необходимо сделать оговорку.

Руководители добровольчества очень настойчиво напирали на эту прореху в деятельности кубанских властей. Но этим не могут умалиться их собственные прегрешения в отношении необходимой доли гражданской свободы и предосудительной обработки общественного мнения.

На экономическую краевую жизнь давили твердые цены на хлеб и другие продукты сельского краевого хозяйства и как неизбежное дополнение к твердым ценам разрешительная система вывоза, вывозные пошлины, установление пограничной стражи.

Кубанское правительство обязалось доставлять продовольствие для Добровольческой армии с кубанскими частями, а равно и для Дона, где была якобы нехватка собственных продовольственных продуктов.

Твердые цены в обстановке того времени, когда отсутствовали эквивалентно оплачиваемые товары, потребные населению, — это искусственно пониженные цены, чтобы меньше платить земледельцу.

По ведомству народного просвещения Ф. С. Сушков бесшумно делал свое дело, и в крае не только восстанавливались уже бывшие в станицах и городах учебные заведения, но открывались и новые с общей тенденцией достигнуть всеобщности начального образования. Так как в крае обнаружился большой приток бывших профессоров и преподавателей в высших учебных заведениях (между прочим, из Тифлиса, где грузинское правительство проводило национализацию школы), то было подготовлено и открыто первое высшее учебное заведение в Екатеринодаре — Кубанский политехнический институт сначала с

двумя отделениями — сельскохозяйственным и экономическим, а затем еще инженерно-строительным, электромеханическим и химическим.

Военное дело, финансы, общехозяйственные нужды, область внешних сношений — все требовало создания объединенного, общепризнанного высшего распорядительного органа. Это сознавалось всеми, но как прийти к этому, думали поразному. Генерал Краснов, избранный Донским атаманом, для обоснования донской обособленности выкопал из тьмы веков название "всевеликости" Донского Войска и герб с казачьей "обнаженностью" в центре, флаг и прочие аксессуары донской самостоятельности. Павло Скоропадский, украинский гетман, самая прозаическая по времени креатура проникших на Украину немцев, — для Краснова — "брат". В Берлин к императору Вильгельму (который сам через несколько месяцев побежит искать убежища у голландской королевы) Краснов отправляет посольство — "Зимовую станицу", как во времена былой "обыкновенности" посылались с Дона "Зимовые станицы" в Москву. А в адрес добровольческого командования — элиты русских генералов — брошено им сравнение: "бродячие музыканты"...

...Кубанцы, придерживаясь прежних постановлений Рады и декларации о временности своего государственного образования и о принципе общероссийской федеративности, объявили "приказ" о созыве новой Краевой Рады на конец октября (28). Предлагалось казачьим станицам, хуторам, а также селениям с жителями коренными крестьянами, аулам (с жителями горцами) прислать своих представителей — по одному от 5000 душ населения; фиксировалось, какое количество представителей должен прислать каждый из кубанских городов — Екатеринодар, Армавир, Ейск, Майкоп, Анапа, Темрюк. Много вызвавший споров до выхода в "Ледяной поход" принцип паритетности представительства отдельных групп населения был теперь обойден молчанием.

Так как раньше бывали случаи представительства в Краевой Раде от воинских частей, то теперь этот вопрос был представлен на усмотрение Главного командования армии; оно приняло предложение прислать представителей армии в Раду. Таким образом, кубанцы как бы оставляли открытыми двери для принятия общих решений с добровольцами. Но перенося разрешение всех вопросов в Краевую Раду, кубанцы без экивоков ставили вопрос о принципе народоправия в пределах захваченного борьбой населения.

Какую систему власти для себя и для всего объединения лелеяли и вынашивали добровольцы? Консервативный деятель и журналист Шульгин подал мысль генералу Драгомирову об организации Особого совещания при Верховном руководителе Добровольческой армии. Шульгин же будто бы составил и перечень тех отделов, из которых должен был состоять этот орган. Дальнейшая разработка проекта первого варианта Особого совещания проводилась под руководством и ответственностью генерала Драгомирова. Форма власти — диктатура, а по этому ее варианту — с любопытной подробностью: диктатура двуглавая и при этом с явным уклоном к особому типу генеральской олигархии. Общепризнанный вождь Добровольческой армии, генерал Алексеев определялся как председатель Особого совещания, но лишь для больших его заседаний, для разрешения наиболее серьезных вопросов и для рассмотрения сложных законопроектов, затрагивающих интересы нескольких ведомств.

Кроме больших, могли созываться малые заседания под председательством командующего армией генерала Деникина, при обязательном присутствии в них генералов Лукомского и Романовского, а из остальных управляющих ведомствами министров могли присутствовать лишь те, которых признал нужным пригласить председатель.

Этот проект генерала Драгомирова об Особом совещании, утвержденный 18 августа генералом Алексеевым, пролежал на столе Драгомирова под замком — в виде секретного документа, чтобы "до времени не вызывать возбуждения в кубанской среде", весь срок своего существования, то есть до дня смерти генерала Алексеева — 5 сентября 1918 года. В дальнейшем, так как потом "неписаная конституция Добровольческой армии не знала иной власти, кроме ее командующего", то никто не возбуждал после смерти Алексеева вопроса о преемственности, за санкцией новых писаных ее вариантов обращались теперь уже непосредственно к генералу Деникину.

Устанавливалась новая директива: временная власть командования Добровольческой армии, преследуя общерусские интересы, должна быть неограниченной, в виде единоличной диктатуры. В части личной компетенции разрешать организационные вопросы "все стало ясно". И сам Драгомиров должен был хлопотать лишь в качестве исполнителя предначертаний и лишь о подготовке и шлифовке конституционных вариантов. Им это дело перепоручено было профессору Соколову, члену партии кадетов. Последний до этого довольно долго колесил по Советской России, пока не обосновался в Екатеринодаре. Соколов, появившийся у нас на Кубани совместно с другими видными членами кадетской партии, разделял в полной мере добровольческую точку зрения о неизбежности диктатуры и целесообразности ее как единственно мыслимой формы организации власти при политической ситуации того времени. Принималось, как бесспорное, что успешное противопоставление диктатуре Ленина и Троцкого возможно только лишь в виде власти, столь же сконцентрированной и выделенной из среды До-

бровольческой армии, а почему так — доказательства будто бы даже и не требовалось.

К нам, кубанцам, эти штатские проводники диктатуры пришли не в виде людей от Драгомирова, а в особом виде частных посредников, в виде как бы третьей стороны, предлагающей сговор двум другим спорящим сторонам.

У нас с этими посредниками — К. Н. Соколовым и В. А. Степановым — состоялось два совещания: одно в квартире П. М. Каплина, одного из немногих кубанских кадетов, другое — в помещении ведомства кубанского здравоохранения.

Наши посредники, очевидно, возымели намерение сначала побеседовать с кубанцами, наиболее "мирно настроенными" в отношении добровольцев, — Сушковым, Скобцовым, Каплиным, Филимоновым...

Собеседование начал Соколов, указав, что ему "известно" направление работ комиссии при Главном командовании по созданию объединенной власти противобольшевистских сил. По его де сведениям эта комиссия полагает желательным нижеследующее:

"Главнокомандующий стоит во главе всех морских и сухопутных вооруженных сил, определяет устройство армии и флота и руководит всем делом государственной обороны, представляет области, занимаемые Добровольческой армией, в их сношениях с иностранными державами, заключает международные договоры, объявляет войну и заключает мир, издает законы и указы по всем отраслям государственной жизни, устанавливает единую систему денежного обращения, назначает на все высшие должности военной и гражданской службы, осуществляет право помилования и смягчения наказаний и пр., объявляет местности на военном и исключительном положении.

Для содействия Верховному руководителю Добровольческой армии и ее Главнокомандующему в делах законодательства и управления при нем определяется состоящим Особое совещание из обычных министерских отделов с компетенцией составлять свое мнение по всем законодательным предположениям, по всем правительственным мероприятиям общегосударственного значения и, наконец, по всем предположениям замещения главных должностей.

Особое совещание в полном составе, а равно управляющие отделами, пользующиеся правами министров, за общий ход государственного управления ответствуют единственно перед Верховным руководителем Добровольческой армии".

По этой принципиальной части предположений о единоличной диктатуре мы, кубанцы, в этом же первом собрании нашем с "посредниками" высказались единодушно и совершенно отрицательно. Наш кубанский кадет Каплин был солидарен со мной и Сушковым...

Мы указывали на "предвзятость" мнения о спасительности диктатуры. Если наши противники — большевики предпочли для себя и своей партии применять этот принцип власти, то мы, признавая, что это гибельно для России, никак не должны в подражание своим противникам строить свою объединяющую власть на том же самом основании. Нецелесообразно применять в политике простейший принцип механики: "Клин клином вышибается..."

Кубанская почва совершенно не пригодна для укрепления власти диктатора. У нас невозможно при создавшемся положении добровольное признание власти диктатора, принудительное же внедрение диктатуры в красную жизнь должно оказаться чреватым опасными последствиями.

Мы обращали при этом внимание наших собеседников на то, что так говорим мы, наиболее благожелательно настроенные в отношении добровольцев. Другая группа кубанцев, наши черноморцы, совсем иначе могут взглянуть на это дело.

Ф. С. Сушков с большой откровенностью рассказал о натянутости отношений в кубанской среде и о том, как важно при создавшемся положении соблюсти осторожность и осмотрительность в действиях.

Сейчас все кубанцы без различия партий захвачены идеей борьбы, и это нужно ценить и не производить опасных экспериментов.

В части положительной наши предложения были приблизительно следующими:

"Объединение власти и с кубанской точки зрения крайне желательно и серьезно предпринятые к тому шаги со стороны добровольцев найдут среди кубанцев благоприятное к себе отношение. Установление подходящего вида внешних сношений и согласованное разрешение общих экономических проблем является неотложным..."

Горький опыт вооруженной борьбы на Юге России показал, что армия отказалась идти до конца за властью, организованной по рецептам Драгомирова, Шульгина, Соколова... Ссылка на коллективную психологию всегда может иметь двустороннее значение.

(Продолжение следует)

Борис Башилов

МАСОНСТВО И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ*

Орден рыцарей злого добра

Миросозерцанию и творчеству представителей русского образованного слоя не характерны ни тоталитарность мировоззрения, ни фанатизм и утопичность политических взглядов, ни тенденциозность и предвзятость творчества: русский образованный человек и русский интеллигент — это антиподы во всем: в психологии, миросозерцании, мироощущении и т. д. Да это вполне понятно, если вспомнить, какие цели преследует русский образованный слой и члены Ордена Р. И.: цель первых — творить русскую самобытную культуру, цель вторых — любой ценой добиться уничтожения русского национального государства, на почве которого только и может развиваться и цвести русская культура.

Все наиболее ценное во всех областях русской культуры создано отнюдь не интеллигентами, а теми образованными русскими людьми, которых ни Бердяев, ни Федотов, ни другие идеологи русской интеллигенции никогда не причисляли к Ордену Р. И. Творчество членов Ордена — Белинского, Чернышевского, Писарева, Герцена, Михайловского, Салтыкова-Щедрина, Успенского, Горького — в литературе, Перова и ему подобных тенденциозных "белинских от живописи" — это, как ни преувеличивай, все же задворки русской культуры. То, что внесла русская интеллигенция со времени своего возникновения в русскую культуру, все отмечено печатью второсортности: она не столько является творцом, сколько фактором, задерживавшим и затруднявшим развитие русской культуры, и в конечном итоге своего развития — в большевизме — явилась беспощадным разрушителем русской культуры.

С момента своего возникновения Орден Р. И. находился в беспрерывной гражданской войне с верховной русской властью и со всем русским образованным классом, со всеми творцами русской культуры, со всеми русскими образованными людьми, отказывавшимися от сомнительной чести принадлежать к Ордену политических фанатиков и изуверов.

Плоский уровень мышления, унаследованный членами Ордена от Белинского, отталкивал от себя всех подлинных носителей русского духа и подлинных создателей русской культуры. Видный деятель Ордена в царствование Николая II П.Струве признается, что "чем подлиннее был талант, тем ненавистнее ему были шоры интеллигентской, общественной утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерить степенью его ненависти к интеллигенции: достаточно назвать гениальнейших — Достоевского, Тютчева и Фета".

По мнению Бердяева, которое разделяют и многие другие идеологи интеллигенции, тоталитарность миросозерцания является главным признаком, по которому "можно даже определить принадлежность к интеллигенции. Многие замечательные ученые специалисты, как, например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, многие, ничем не ознаменовавшие себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат".

"Беспочвенность, — пишет Г. Федотов в "Трагедии интеллигенции", — есть отрыв от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований... Только беспочвенность как идеал (отрицательный) объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по своему тоже "идейные" (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди (либералы), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский и множество других. Все они почвенники — слишком коренятся в русском национальном быте и в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византисту-изуверу Леонтьеву войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой — демоном, а не святым, — чем этим гуманнейшим русским людям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешала толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно "беспочвенной почве": вместе с англо-американцами, китайцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности".

Александр Блок писал в статье "Судьба Аполлона Григорьева": "Грибоедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение сороковых годов во главе с В. Белинским, "белым генералом" русской интеллигенции. Наследие Грибоедова, Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано: Россия "Петровская" и "допетровская" помечены известным штемпелем. Белинский служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий".

На докладе в Париже И. Бунакова-Фондаминского, бывшего террориста, после революции раскаявшегося и перешедшего из иудаизма в православие, Мережковский утверждал: "Вспомните, как началась интеллигенция. Типичный интеллигент — Белинский встретился с Гоголем. Как Белинский отнесся к великой религиозной трагедии русского духа? Ему просто показалось, что Гоголь крепостник. Он даже не понял, о чем идет речь. Я считаю Белинского крупным и значительным человеком, но с большим легкомыслием к трагедии Гоголя нельзя было отнестись.

Или Писарев и Пушкин. Пушкин был попят, принят вопреки интеллигенции. То же самое было с Достоевским, да и с Толстым. Толстой, Достоевский, В.Соловьев — это все представители русского духа, русской культуры. И с ними у интеллигенции была сильная непрерывная борьба. Не было цензуры жестче цензуры интеллигентской. Я знал лично Михайловского и я знал его цензуру. А ведь он при этом еще все время говорил о свободе".

Еще Лавров в "Исторических письмах" утверждал: "...Профессора и академики, сами по себе как таковые, не имели и не имеют ни малейшего права причислять себя к интеллигенции". "Что же, быть может, интеллигенция избранный цвет работников умственного труда? — задает вопрос Федотов. — Людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли без различия направления? Но где же в ней имена еп. Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова — беру наудачу несколько имен в разных областях мысли".

Конечно, никого из перечисленных в состав разношерстного по идейным взглядам Ордена зачислить нельзя. Не зачисляли еп. Феофана Затворника и Победоносцева в состав Ордена до Г. Федотова, не зачисляет их и он. "Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции, — пишет Федотов, — никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную же жизнь было несомненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции".

А вот утверждение из книги известного меньшевика Дана "Происхождение большевизма": "...Самые ученые и образованные люди, всецело поглощенные умственным трудом, стоят вне этой группы, если они настроены консервативно или реакционно. На иностранных языках нет выражения, адекватного русскому слову "интеллигенция" потому, что в иностранной жизни не было и нет обозначаемого этим словом понятия" (с. 32).

Н.Ульянов в статье "Интеллигенция" пишет: "Писателей и поэтов, вполне преданных своему искусству, к интеллигенции не причисляли. В шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах, когда это слово возникло и пользовалось наибольшей популярностью, они служили примером того, чем не должен быть интеллигент. Имена Пушкина и Лермонтова как раз считались самыми одиозными. Отметали и "кабинетных ученых". За ничтожным исключением, вся русская литература, наука, весь артистический мир были отлучены от "интеллигенции" ее учителями и вождями. С своей стороны и деятели русской культуры платили ей столь же неприязненными, брезгливыми чувствами. Особенно не терпел ее Чехов: "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется".

Недавно умерший масон М. Алданов утверждает в "Ульмской ночи", что все самые выдающиеся представители русского образованного общества, которые творили русскую культуру, не обладали политическим максимализмом, свойственным русской интеллигенции. "Заметьте, — пишет он, — все большие русские писатели могли знать западноевропейские крайние революционные учения. Начиная от Гоголя, они могли бы и даже, собственно, должны были бы знать и о марксизме. Между тем ни на одного из них (не

* Продолжение. Начало в № 7.

причислять же к большим писателям Горького) марксизм ни малейшего влияния не оказал. Один "невежественный" Лев Толстой читал "Капитал" и даже делал на полях пометки. Но он причислял Маркса к тем ученым, которые ставят себе целью "удержать большинство людей в рабстве меньшинства..." Да еще Владимир Соловьев на этот раз проявил весьма неуместную "бескрайность", косвенно сравнивая марксизм (как, впрочем, и некоторые другие экономические учения) с порнографией. "Я разочаровался в социализме, — пишет он, — и бросил заниматься им, когда он сказал свое последнее слово, который есть экономический материализм, но в ортодоксальной политической экономии ничего принципиального и не было, кроме этого материализма".

А все другие наши писатели, художники, композиторы? Они и в политике, и в своем понимании мира были умеренные люди, без малейших признаков максимализма.

Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Лесков, Фет, Чайковский, Мусоргский, Бородин, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Левитан, Лобачевский, Чебышев, Менделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьев были в политике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без малейших признаков бескрайности. Такими все они были и в своем творчестве.

Достоевский был в юности интеллигентом, учеником Белинского, но потом понял ложность идей, исповедуемых Орденом Р. И., и стал непримиримым врагом Ордена. "В политике он был умеренный консерватор, — пишет Алданов, — в "Дневнике писателя" вы, пожалуй, не найдете ни одной политической мысли, которую не мог бы высказать рядовой консервативный публицист" ("Ульмская ночь").

Подобную же точку зрения развивает Алданов и в предисловии, написанном к книге М. Осоргина "Письма о незначительном": "Почти все классические русские писатели, композиторы, художники за одним или, может быть, двумя исключениями ни в политике, ни в своем общем понимании мира, ни в личной жизни "марксизма" не проявляли... Достоевского должно считать исключением в жизни, можно — с оговорками — считать исключением в философии и уж никак нельзя в политике: автор "Дневника писателя" был все-таки "умеренный консерватор". Толстой поздних лет, Толстой "Воскресения" и философских работ, конечно, был исключением".

"...Народные сказители представляются нам забавной диковиной, — писал А. Блок, — начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда были роковым образом "помехой интеллигентским началам; прав был Самарин, когда писал Аксакову о "недоступной черте, существующей между "славянофилами" и "западниками". На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву. По-своему она была права; между ними и была та самая "недоступная черта" (Пушкинское слово), которая определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее время выразилась всего резче в непримиримости двух начал — менделеевского и толстовского: эта противоположность даже гораздо острее и тревожнее, чем противоположность между Толстым и Достоевским"

Между тоталитарной по своему мировоззрению интеллигенцией и мировоззрением выдающихся представителей русского образованного общества, между мировосприятием одних и других лежит непроходимая пропасть: это были два мира, обреченные на вечную борьбу, до уничтожения одного из них.

М. Цейтлин в статье "Восьмидесятые годы" ("Новый журнал", XIV) вспоминал про редактора прогрессивного "Северного вестника" А. Волынского, "яркого и очень необычного человека, критика, философа, эстета и немного пророка", который "мог говорить часами, как одержимый, вдохновенно и самозабвенно. Говорят, что случались с ним при этом ляпсусы: "Небо вверху, — провозглашал он, предваряя антитезу Мережковского, и при этом указывал на пол, — и небо внизу, — и он возводил руки к потолку"

Философ, эстет и "немножко пророк" Волынский напоминает всю русскую интеллигенцию, которая во все периоды своего существования, от Белинского и до Ленина, тоже всегда ошибочно указывала, где находится земля, а где небо.

Лесков писал однажды художнице Бем: "Лев Николаевич очень весел. Рассказывает, как его дочери "пошили порток ребятам", и потом спрашивает: "Хороши ли портки?" — А ребята отвечают: "Портки-то хороши, только в них никуда бечь нельзя".

Так и члены Ордена Р. И. Пошили они для России "портки" по самым наилучшим масонским выкройкам. И "портки" получились лучше некуда. Одна беда — в них, как и в штанах, пошитых дочерьми Л.Толстого, России "никуда бечь нельзя".

"Я думаю, — пишет Н. Бердяев в статье "О смене поколений и о вечном возвращении" ("Новый град", № 5), — что коллективность мышления, коллективность суждений, коллективность совести — характерный признак той русской интеллигенции, которая под старость и после потрясений революции готова признать себя борцом за индивидуума против уничтожающего индивидуума коммунизма. Индивидуальное, личное мышление свойственно только одним одиночкам, как К. Леонтьеву или В. Розанову. Сейчас не любят

философии, но это совсем не ново, философию никогда не любили в широких кругах интеллигенции. Коллективное общественное мнение русской интеллигенции было очень деспотическим. Черт, общих с коммунизмом, было очень много. Интеллигенция очень походила на секту, довольно нетерпимую, со своими коллективными, моральными и социальными догматами. От этого интеллигентского коллектива легко отлучали за индивидуальные, личные суждения и мысли. Коммунисты совсем не так оригинальны, как это кажется. Откуда они взяли свой материализм, свою вражду к религии, к метафизике, к эстетике и красоте, исключительно социальный характер своего миросозерцания, свое исключительное поклонение наукам естественным и экономическим за счет наук гуманитарных и философских, свою идеализацию трудящихся классов, рабочих и крестьян как единственных настоящих людей, свою сектантскую нетерпимость? Все это взято от Чернышевского, от старой интеллигенции. Но дети и внуки этой старой интеллигенции, превратившиеся в отцов и дедов, враждующие с коммунизмом, сами забыли свое прошлое, свои истоки. Если бы русский нигилизм и русские крайние народнические направления в свое время могли осуществить свою программу, реализовали бы ее в жизни, то, вероятно, получился бы строй и быт, мало отличный от советского".

Всякая попытка установить и вскрыть несомненно существовавшие тайные связи между главарями политических и революционных движений, членами которых были интеллигенты, и масонством до революции всячески дискредитировалась и объявлялась злостным вымыслом антисемитов и черносотенцев. Глухие признания о существовании таких связей появились только после того, как черная мечта членов Ордена была выполнена, когда в 1917 году царская Россия была убита участниками масонско-интеллигентского заговора.

Русским историкам, решившим расшифровать связи между руководителями Ордена Р. И. и русским и мировым масонством, придется проделать большие, кропотливые исследования. Масонство умеет хранить и скрывать свои тайны. В первой из четырех опубликованных в еврейской газете "Новое русское слово" статей "Масоны в русской политике" (см. № от 9 окт. 1959 г.) видный меньшевик еврей Г. Аронсон подчеркивает особое умение масонов хранить свои секреты: "Существовала, — пишет он, — в России, может быть, и немногочисленная, но политически влиятельная организация, представители которой играли весьма видную роль в переломные годы русской истории — в 1915—1917 годах, в эпоху первой мировой войны и февральско-мартовской революции. Особенностью этой организации была, прежде всего, ее засекреченность, доходящая до того, что спустя много десятилетий ни один из ее участников не разгласил ни тайны ее состава, ни тайны ее деятельности".

Точно так же была засекречена и деятельность русских масонов и в царствование Николая I, Александра II и Александра III, после запрещения масонства Николаем I. Масоны в России, как и тайные масонские ложи, были все время. Вспомним, что писала в книге "Русское масонство" незадолго до первой мировой войны масонка Г. Соколовская: "Уголовные дела, возникавшие после запрещения масонства, свидетельствуют о продолжавшейся масонской пропаганде" (с. 20).

Е. А. Масальская, сестра гениального русского филолога Шахматова, в своих воспоминаниях "Повесть о моем брате А. А. Шахматове" пишет о событиях, происходивших в 1873 г.: "...Дядя был масон; дядя был вольтерьянец; дядя был поклонник Запада XVIII века и французских классиков" (с. 39).

Масонка Т. А. Бакунина в своей книге "Русские вольные каменщики" (Париж, 1934) пишет: "Сведений о русских вольных каменщиках позднейшего времени в печатной литературе почти не встречается. И о масонстве вообще можно найти только упоминания: даже в записках лиц, заведомо принадлежавших к ложам, встречаются лишь иносказания или отрицательные оценки масонства. Тем не менее оно продолжало существовать, хотя и не как самостоятельная организация, а в лице отдельных членов иностранных лож, главным образом французских; но по условиям внутренней жизни масонства не могло проявить настоящую жизненность..." (с. 8).

Тайну, о которой умалчивает Бакунина, о том, что отдельные масонские ложи существовали в России и после запрещения, раскрывают русские масоны, приютившиеся после февральского переворота в Англии. В "Заметках о масонстве", изданных в Лондоне кружком русских масонов (с. 40), указывается: "Известно, однако, что отдельные группы масонов, особенно розенкрейцеры, продолжали свою работу и даже посвящали новых членов в течение всей остальной части XIX века, причем в отдельных русских губерниях, особенно на Украине, существовали и секретные ложи".

Записки масона И. В. Лопухина были изданы в 1860 г. в Лондоне и ввозились, конечно, тайно в Россию, как все время ввозились и сочинения иностранных масонов.

Герцен, Бакунин, Огарев, Нечаев, Лавров, Ткачев и другие руководители революционного движения, жившие за границей, находились в идейной связи с европейским масонством. И не могли не находиться, потому что все революционные учения и революционные движения [illegible]

странах Европы в той или иной степени развивались по инициативе мирового масонства.

До государственного переворота в ноябре 1852 г., превратившего ставленника масонов племянника Наполеона — принца Луи Наполеона в императора Наполеона III, масоны обращаются к нему с заявлением, в котором обещают ему свою помощь, советуют объявить себя императором. Но как только он стал с помощью масонов императором, масоны начинают подготавливать провозглашение во Франции республики. "В течение этого времени, — пишет бывший видный французский масон Копен-Альбанселли в книге "Тайная сила против Франции", — Германия, не переставая, увеличивала мощь своей военной машины. Тайные силы проповедовали пацифизм и гуманизм во Франции посредством французского масонства, в то время как немецкими масонами проповедовался в Германии патриотизм".

5 ноября 1862 г. в парижской газете "Монд" была напечатана следующая информация: "В Гамбурге существует тайное общество с масонскими формами, подчиненное неизвестным руководителям. Члены его большей частью евреи. В Лондоне, где, как говорят, находится очаг революции, под руководством Великого Мастера Пальмерстона существуют две еврейские ложи, через порог которых никогда не переступал христианин. Там-то соединены все нити революционных элементов, действующих в христианских ложах... В Риме ложа, составленная из одних евреев, является высшим трибуналом революции".

Герцен, Огарев, Кропоткин и другие не случайно жили подолгу в Лондоне — центре мирового масонства. "Дабы лучше уяснить размеры и природу русских революционных влияний, — пишет в брошюре "Правда о царизме" английский профессор Ч. Саролеа, — надо припомнить поразительный парадокс, что в течение XIX века консервативная Англия делила с законопослушной Швейцарией сомнительную честь быть главной квартирой международной революции. Ведь из Лондона, как центра, Мадзини и Гарибальди, Кошут и Орсини, Маркс и Энгельс, Бакунин и Кропоткин плели свои разрушительные интриги и цареубийственные заговоры. Ни в одной другой стране не смотрели так благожелательно на русских революционеров. В то время как князя Кропоткина, главаря анархистов, посадили в тюрьму в республиканской Франции, в монархической Англии из него сделали героя. Причины этого политического парадокса никогда не были должным образом изучены, хотя изучение привело бы ко многим неожиданным разоблачениям".

Эти неожиданные разоблачения выяснили бы, что русских революционеров поддерживало не только английское, но и все мировое масонство. Если не принадлежность Герцена и Огарева к Ордену иллюминатов, самому революционному из масонских орденов, то идейную зависимость их мировоззрения от иллюминатства показывает письмо их в марте 1861 г. декабристу Н. Тургеневу, который, как и Пестель, был иллюминатом. Письмо это, опубликованное в книге гр. С. Д. Толь, имеет такое содержание:

"Милостивый Государь Николай Иванович!

Вы были одним из первых, начавших говорить об освобождении Русского народа; вы, недавно растроганные, со слезами на глазах — праздновали первый день этого освобождения. Позвольте же нам, питомцам Вашего Союза, сказать Вам ныне поздравление и с чувством братской, или лучше сыновней любви — пожать Вам руку и обнять Вас горячо от полноты сердца. Тот же наш привет просим передать князю Волконскому. С живым умилением мы писали эти строки и подписываем наши имена с той глубокой, религиозною преданностью, которую мы на всю жизнь сохранили к старшим деятелям русской свободы.

Александр Герцен, Николай Огарев".

"Масонство не занимается... гражданскими конституциями государств... должно уважать и уважает политические симпатии своих членов... следовательно, всякие дискуссии по этому поводу остаются ясно и формально запрещенными". Подобные параграфы в масонских уставах — обычная масонская ложь. "В течение 150 лет, — пишет Копен-Альбанселли, — франкмасонство утверждало, объявляло в своих статутах, как мы уже сказали, что не занимается политикой и что даже запрещает в ложах всякую дискуссию, которая могла бы относиться к этому предмету. Ну что же, действительно экстраординарное явление со стороны общества, которое не занимается политикой. Оно проявилось теперь во владении этим обществом всех государственных постов в течение революции, и в наши дни мы его видим повторяющим это чудо. Добавим, что понадобились бы тома, чтобы цитировать все документы, которые доказывают, что собрания этих лож полны политических дискуссий, несмотря на утверждения, существующие в статутах".

Когда положение масонства в Европе снова укрепилось, масоны отменили те пункты своих уставов, в которых говорилось, что масоны не занимаются вопросами политики и религии. Так, на заседании 21 октября 1854 г. ложи Великого Востока Бельгии было решено отменить 135-й пункт устава, в котором говорилось: "Ложи ни в коем случае не могут заниматься вопросами политическими и религиозными"*. Тридцать лет спустя Великая Ложа Франции постановила отменить "за ненадобностью пункт конституции, по которому Великая Ложа отказывается от обсуждения политических вопросов". А в постановлении Ложи Великого Востока Франции сказано: "Одно время существовало не столько правило, сколько формальность заявлять, что масонство не занимается ни вопросами религии, ни политики... Под давлением полицейских предписаний мы принуждены были скрывать то, что является нашей единственной задачей"*.

*, ** Revue Internationale des Societes Sekretes. 1912. № 2.

Создать "марксизм" Карлу Марксу было не трудно. Все новые положения так называемого "научного социализма" были давно уже разработаны масонами. "...Теоретики коллективизма, — пишет исследователь французского масонства Бидегайн, — имели предшественников во французском масонстве. Социализм наших дней был сформулирован между 1753 и 1760 гг. масоном Моррели в его "Плавающих островах" и "Кодексе природы"**.

Первый Интернационал — детище мирового масонства. Это ясно доказывают работы европейских исследователей, изучавших взаимоотношения международных пролетарских организаций и масонства. Простых пролетариев в "буржуазные" масонские ложи не пускают, их вовлекают в специально созданные для них политические и "профессиональные" организации, руководимые масонами и идейными подголосками масонства в виде Герцена, Кропоткина, Бакунина и т. д.

Марксовский Интернационал и международное объединение анархистов, созданное Бакуниным, — суть организации "простейшего", пролетарского масонства. Идейная зависимость этих организаций очень явственно проступает и в идеологии, и в тактике, и в морали. И для бакунинцев, и для марксистов во имя сокрушения религии и монархий так же "все позволено", как и масонам.

Первый Интернационал, основанный Карлом Марксом, как свидетельствует один из основателей его, Фрибург (см. его книгу "Ассоциацион Интернационале", с. 31), всегда опирался на масонство. "Существует один проект организации мира, о котором много говорят за последние годы, — пишет бывший французский масон Копен-Альбанселли, — в пользу которого ведется горячая пропаганда среди народных масс и к которому современное французское правительство толкает страну. Мы говорим о социально-коллективной организации, которая наиболее подходит к характеру, способностям и средствам евреев и благодаря которой они смогут подчинить себе все христианские нации. Пропаганда социал-коллективизма (при надобности его заменяют другим наименованием, дабы труднее было разобраться в вопросе) имеет те выгоды для еврейской тайной силы, что отлично ее маскирует и в то же время пресекает всякую возможность сопротивления; естественным последствием этого режима будет приведение человечества в состояние пыли путем рассеивания тех компактных масс, из которых человечество ныне состоит. Социально-коллективная пропаганда так же прикрывает собой тайную силу, как слова "свобода, равенство, братство" прикрывали собою масонство в глазах непосвященного мира, который, думая, что отдается возвышенному идеалу, в действительности отдавался этому коварному, лицемерному сообществу.

Весь коллективизм сводится в сущности к следующей формуле: "Все должно принадлежать народу". Рабочий люд воображает, что тогда все земное достояние будет равномерно распределено между всеми людьми, и идет к этому идеалу, не подозревая, что скоро "народ" очутится в руках у евреев и лозунгом его станет: "Все должно принадлежать евреям"*.

1-й, 2-й и 3-й Интернационалы — это все различные виды "простейшего масонства", рассчитанного на вовлечение в революционные движения широких масс рабочих всего мира. "Пролетарии всех стран", возмущаемые тайными революционными обществами, подстрекаемые на демонстрации, восстания, разного вида стачки, как указывает Элло, "проливать кровь свою за масонскую шайку, о существовании которой даже не подозревают" (с. 20).

"Вопросы масонский и рабочий, — указывает Элло в своем исследовании "Франкмасонство и рабочий", — ныне настолько тесно связаны, что нельзя выяснить одного, не зная другого. Корень и сила социализма во всех его формах лежит в масонстве" (с. 3). "Масонские ложи, — утверждает Клодио Жанне в книге "Франкмасонство", — суть лишь кадры регулярной армии революции и антихристианской масонской секты. Ниже лож стоят многочисленные народные сообщества, кружки, союзы с различными названиями, но все они представляют лишь упрощенные формы масонства".

Во французском масонском журнале "Акация" в одном из номеров за 1910 г. напечатано: "Масонство, подготовившее политическую революцию в 1789 году, должно теперь подготовить социалистическую. Масоны обязаны идти рука об руку с пролетариями. На стороне первых — интеллектуальные силы и творческие способности, у вторых — численное превосходство и разрушительные средства. Единение их осуществит социалистическую революцию". Еще более откровенно высказывание о том, что именно масонство

* Revue Internationale des Societes Sekretes. 1912. № 2.

** J.Bidegain. Masques et visages maconniques. Paris.

* Copin-Albancelli. Conjuration Juive contre le monde cretien. P. 176.

руководит интернациональными организациями пролетариата, встречаем в отчете международного конгресса масонов, состоявшегося в 1910 г. в Брюсселе. "С того дня, когда союз пролетариата и масонства под руководством масонства скреплен, — мы стали армией непобедимой". Выступая в масонской ложе "Свободная мысль", существовавшей в Орильякс (4 марта 1882 г.), масон П. Рок, напомнив, что революция 1789 года — дело рук масонства, сказал: "Это прошлое является залогом тому, чем вы будете в будущем. Роль масонства далеко еще не закончена: закончив революцию политическую, оно должно работать над революцией социальной".

Как уже указывалось, члены Ордена ухватились за марксизм сразу после его появления, и уже в 1843 г., по свидетельству Карла Маркса, жившие в Париже русские аристократы-революционеры "носили его на руках". К. Маркса почитают все основатели Ордена (Бакунин стал врагом его только впоследствии).

Тайные политические общества и партии, создаваемые интеллигенцией, копировали организационную структуру масонства. В момент возникновения Ордена Р. И. в США и в Англии масонство одержало уже окончательную победу, и необходимость в тайных масонских революционных обществах в этих странах отпала. "Время тайных обществ, — пишет Герцен в книге "Былое и думы", — миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет свободы речи, ни права собрания, будут составляться тайные общества".

Этой масонской тактике Орден Р. И. и следовал всегда. Тайна и конспирация составляет самую сущность масонства. В манифесте Великой Ложи Германии от 1794 г. говорится: "Цель Ордена должна быть его первой тайной: мир недостаточно силен, чтобы перенести открытие цели". В параграфе 5 манифеста Ордена тамплиеров говорится: "Власть в Ордене тамплиеров Востока сосредоточена у Верховного Главы Ордена. Имя особы, которая занимает этот пост, никогда не открывается никому, кроме его непосредственных представителей".

"Можно было бы воображать, — пишет в своих разоблачениях французский масон Копен-Альбанселли, — что я должен был бы прекрасно знать сущность масонства, так как я в течение шести лет был в "мастерских вдовы" (так называется масонство). Несмотря на это, я знал мало... Я был последовательно учеником, товарищем, учителем и розенкрейцером. Я занимал должность секретаря, оратора и первого охранителя в моей ложе... Я также был назначен секретарем капитула Ла Климента Амистад с момента вступления в этот капитул. Я был, таким образом, капитулярным лучом (светом). Одно обстоятельство, о котором я скажу позже, мне позволило подозревать, что за масонским миром существует еще один мир, еще более тайный, чем этот, не подозреваемый ни миром масонским, ни миром профанов..."

В низших и средних ступенях масонства проповедуется демократизм, на вершинах же главенствует личная диктатура, окруженная непроницаемой тайной. Истинные цели и настоящую деятельность русских тайных революционных обществ и явных революционных партий, входивших в Орден Р. И., тоже знали только одни главари. Рядовой член тайных обществ и революционных партий, действовавших явно, тоже на каждом шагу был отгорожен тайнами и секретами, то есть происходило то же самое, что и в любой масонской ложе.

"Масонство, — говорил один из масонов на масонском конвенте в 1893 г., — не имеет намерения применять в собственной среде полностью учение об индивидуальной свободе и независимости, необходимость которых оно проповедует в мире непосвященных. Масонство есть организм борьбы, и как таковой оно принуждено подчинить своих членов правилам дисциплины, необходимой для борьбы"*.

Борясь против монархий идеей народовластия, сами масоны управляют масонскими организациями при помощи единоличной диктатуры. Политические партии и особенно тайные революционные организации, созданные отдельными политическими направлениями Ордена Р. И., в преобладающем большинстве случаев преследуя — на словах — борьбу за установление демократии, на деле в большинстве случаев управлялись или единолично "вождями" и "идеологами", или небольшой группой главарей, навязывавших свою волю большинству членов организации. Никаким демократизмом среди революционных организаций никогда и не пахло.

Рядовые члены интеллигентских тайных обществ, легальных и полулегальных партий, знали только то, что считали им нужным сообщить Чернышевские, Нечаевы, Милюковы и Ленины. И никогда не знали истинных целей, которые на самом деле преследуют главари организаций. В "Общих правилах" "Катехизиса революционера", составленного, по мнению одних исследователей, Бакуниным, а по мнению других, Нечаевым, говорится, что исполнители революционных заданий "отнюдь не должны знать сущность, а только те части дела, которые выполнять пало на их долю".

А в пункте 5 указывается: "У каждого товарища должно быть несколько революционеров 2-го и 3-го разрядов, то есть не совсем посвященных".

Рядовые члены никогда ничего не знали, что

* Copin-Albancelli. Conjuratio Juive contre le monde cretien. P. 176.

именно делает партия в данный момент и что она предполагает делать в дальнейшем. Руководители партийных организаций обычно всегда исполняли завет из "Катехизиса революционера": "Для возбуждения же энергии необходимо объяснить сущность дела в превратном виде".

Все эти указания — почти буквальное повторение масонских указаний, которые мы встречаем в масонских уставах. Пике, один из знатоков масонского тайнознания, пишет: "Часть символов объясняется новичку, но он является намеренно обманутым ложными объяснениями. Не стремятся, чтобы он их понял, но только чтобы он вообразил, что их понимает. Их настоящая интерпретация предназначена для адептов, для принцев масонства". Пике считается одним из самых выдающихся знатоков масонского тайнознания. "Масонство, — пишет он же, — как все религии, все мистерии, герметизмы и алхимии, скрывают свои секреты от всех, кроме адептов, ученых или избранных, и употребляют ложные объяснения и интерпретации своих символов, чтобы обмануть тех, кто заслуживает быть обманутым, чтобы скрывать от них истину и отдалить их от нее"*.

Даже практика употребления в тайных и партийных организациях псевдонимов и кличек, к чему всегда широко прибегали интеллигенты-революционеры, метод чисто масонского происхождения. "Будет замечено, что существует неизменяемая тенденция в этой мировой конспирации употреблять псевдонимы, частично, без сомнения, по причинам безопасности, а также чтобы увеличивать тайну, что всегда оказывает эффект на общественное воображение, а также чтобы скрыть слишком заметные следы расового происхождения. Так, мы уже показали, что тайные директора французской революции скрывали свои имена. Такая же редкость найти русского большевика, который не был бы известен под вымышленным именем, чтобы скрывать свою семью и свое расовое происхождение, обычно еврейское"**

* Тактика действий Ордена Р. И. на всем протяжении его существования, вплоть до осуществления в 1917 г. военного переворота, была заимствована у масонства. Характеристика действий европейского масонства, сделанная авторами "Всеобщей истории Церкви", вышедшей в 1853 г. в Мадриде, целиком может быть отнесена и к действиям Ордена Р. И. Орден действовал точно так же, как действовало всегда европейское масонство в своей работе против религии и монархий. "Чтобы получить точное понятие об организации тайных обществ и понять их влияние, — пишут Беркастоль и М. Барон Хенрион, — их необходимо разделить на два класса, имеющих различный характер. Один класс тайных обществ, существующих уже много времени, заключал в себе, под покровом франкмасонства, различные общественные группировки, которые занимались, более или менее: критикой религии, морали и политики, атаковали общественные взгляды; другой — под именем "карбонариев" — тайные организации, уже вооруженные, готовые по первому знаку выступить против государственной власти. Первый разряд тайных обществ (масоны) производил революцию в области духа; второй разряд (карбонарии) был предназначен разрушать существующий порядок вещей с помощью насилия. На собраниях тайных обществ первого разряда сидели апостолы философии, пророчествуя и предвещая возрождение порабощенных народов. На собраниях второго разряда действовали заговорщики и наемные убийцы... Эти два класса тайных обществ, система тайных обществ не была вполне закончена: общества, занимавшиеся критикой религии и существующего порядка, были революцией в теории, но им недоставало средств для ведения революционной работы. С другой стороны, если бы существовали только общества, предназначенные для революционной борьбы, члены которых набирались из образованных классов, чьи убеждения уже обработаны в объединениях философского характера, то члены этих обществ ускользали бы от влияния революционных идей. Но благодаря комбинированию двух типов тайных обществ было достигнуто совершенство в искусстве составлять заговоры. Так что, хотя эти общества казались разделенными и имеющими каждое свое устройство, управление и свои частные собрания, они управлялись той же самой властью, которая скрывалась за спиной второстепенных правителей в глубокой темноте" (т. 7, с. 318).

Орден Р. И., как и масонство, занимался одновременно с "легальной", открытой борьбой против религии и самодержавия также и тайной революционной деятельностью.

Принцип "цель оправдывает средства" столь ярко нашедший свое воплощение в революционной деятельности интеллигенции, а позже в деятельности большевизма, есть чисто масонский принцип. Во имя победы масонства каждый масон имеет право поступать, как ему угодно, совершенно не считаясь с обычной моралью.

В приведенном масоном Рагоном тексте клятвы "Рыцаря Кадоша", например, говорится: "Вы клянетесь и обещаете делать, говорить и писать во всякое время и на всяком месте, во всякий раз то, что вам будет предписано приказами законной власти, каковой власти вы клянетесь повиноваться, хотя она вам до сей поры и неизвестна и может оставаться неизвестною еще долгое время" (см. Рагон. "Ортодоксальное масонство").

Философ масон Дидро утверждал: "Ложь так

* A. Prens. A Study En Ameriken Free Masonery. I. P. 385.

** The Cause of the World Unref. P. 217

мало достойна порицания как таковая, и по существу она стала бы добродетелью, если бы она могла быть полезна" (Дидро. "Социальная система", ч. I, гл. 2).

Масон Лермит в докладе, прочитанном на масонском конвенте в 1912 г., заявляет: "Двуличность есть необходимый моральный элемент. Без нее социальная жизнь невозможна (см. журнал французских масонов "Акация", сентябрь 1912 г., с. 589). Масон Рейналь говорит: "Быть добродетельным это значит быть полезным; быть порочным это значит быть вредным, — вот вся мораль"*.

Моральные установки большинства политических течений интеллигенции всегда, с начала возникновения Ордена и вплоть до возникновения большевизма, исходили из приведенных выше масонских принципов. Для членов Ордена политические цели их секты — всегда выше велений совести.

Принцип, что в борьбе с самодержавием "позволено все", придерживалось большинство главарей Ордена задолго до Ленина.

Добролюбов так же, как Герцен, Белинский, Бакунин, считает, что во имя уничтожения царской власти "все позволено". Он так же следует завету иллюмината Вейсгаупта: "Издевайтесь, издевайтесь, вам ничего не остается делать". Вот что он пишет накануне освобождения крестьян в 1860 г. члену Ордена Славутинскому: "Вы напрасно думаете, что я не понял вашей мысли, я ее именно понял так, как вы объясняете, и именно с этой точки смотрел на все обозрение. А в обозрении вышло вот что: везде говорится о реформах и улучшениях, заводимых или производимых правительством, нигде не говорится... о мерзостях по этой части. А во вступлении говорится о пробуждении и пр. общества: значит, правительство идет в уровень с общественным сознанием. Выходит к читателям воззвание в таком виде: "Вы хотите нового, лучшего. Вы серьезно вникаете в неудобства старого порядка; Ваши стремления удовлетворяются. Правительство заботится об улучшении и переменах по всем частям. А затем, если остаются еще мерзости, то нельзя же все переделать вдруг, нельзя, чтобы все было хорошо в переходное время. Значит, "спите" — совсем противное тому, что бы хотели. Вот почему я не только вступление выкинул, но даже из середины выбросил три-четыре фразы о светлых надеждах и преобразовательной деятельности правительства".

Добролюбов, как и многие до него и после него, во сне и наяву мечтал о скорейшей гибели России и писал:

> Ликуй же, смерть страны унылой,
> Все в ней отжившее рази
> И знамя жизни над могилой,
> Над грудой трупов водрузи!

Памятуя наказ Вейсгаупта, Добролюбов дает следующую аморальную установку Славутинскому: "Нам следует группировать факты русской жизни... Надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — для того, чтобы противно стало читателю все царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом вымолвил: "Да что же, дескать, это за каторга: лучше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте я не хочу больше".

Завет Добролюбова был принят к исполнению большинством членов Ордена. С сладострастной любовью Щедрины в литературе, Добролюбовы в критике, Перовы в живописи, Стасовы в области музыкальной критики, Соловьевы, Ключевские в истории так группировали факты, все отрицательные черты русского прошлого и настоящего, чтобы изобразить их в самом отрицательном свете.

Окончание следует

* Raynal. Histoire fhilosophique et politique. V. 7.

Виталий Смирнов

"ПЛЕННИК СВОБОДЫ"

ФИЛОСОФИЯ Н. БЕРДЯЕВА И ХРИСТИАНСТВО

> "Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу".
>
> (Колосс. 2, 8)

Честно говоря, автор не чувствует за собой права писать на подобную тему — он не богослов, не философ и даже не филолог. Но поскольку возвращение творчества Бердяева сопровождается исключительно "осаннами", а специалисты хранят золотое молчание, то можно считать, что возопили камни.

Серьезным людям не надо доказывать, что философия Бердяева не укладывается ни в какие, даже самые пространные, конфессиональные рамки и, как ни парадоксально, менее всего общего имеет с Православием. Об этом немало писали и тут и там... Но простой современный читатель имеет возможность созерцать "небесные черты" личности и творчества Н. Бердяева только сквозь густое облако журнального фимиама. Очевидно, кому-то выгодно представлять Бердяева как "правило веры и образ кротости, воздержания учителя" и в таком преображенном виде использовать его для весьма далеких от христианства целей.

Во время оно Православием укрепляли государственный строй и имели в нем опору против революции. А в наше время те же, по сути, революционные силы пытаются водрузить на своих баррикадах церковные хоругви. Традиционное, святоотеческое Православие очень трудно увязать с борьбой за "права человека" или там за "права верующих", с кровавыми жертвоприношениями слову "свобода" и вообще с тем, что обычно имеют в виду под политикой. Поэтому понадобилось само понятие Православия как можно более расширить, а границы его размыть. С этой задачей успешно справились философия и литература соответствующего направления: "тесный путь" Христов обратился безбрежным Гольфстримом в океане мира сего. Теперь если кто-то напишет слово "Бог" с заглавной буквы, то он уже — "христианский писатель". Как тут не вспомнить гравюру Гойи "Была бы ряса, а там будь она хоть на пень надета".

В задачу автора не входило выносить окончательные определения, что в творчестве Н. Бердяева приемлемо для Православия, а что нет — это дело иерархов. Кстати говоря, очень хотелось, чтобы отношение Русской Православной церкви к мыслителям "русского ренессанса" было определено и тем самым оградило бы верных чад от "мысленного волка", которым многие ныне уловлены. Подобный прецедент есть — это "Указ Московской Патриархии по поводу учения прот. Сергия Булгакова о Софии", но он известен лишь в узком кругу православных богословов. Тем временем даже некоторые преподаватели духовных школ религиозно-философские системы о. С. Булгакова, о. П. Флоренского и других мыслителей "ренессанса" без всяких оговорок считают православными.

Задача этой статьи довольно скромная: используя последнюю книгу Бердяева "Самопознание (опыт философской автобиографии)"*, в которой соединились жизненный и творческий пути мыслителя, п о к а з а т ь посредством цитат наиболее яркие особенности его характера, творческого метода, а также основных положений его религиозно-философской системы. Автора интересовали моменты несоответствия мировоззрения Бердяева с учением Православной церкви и даже еще шире — с евангельским (сказано для тех, кто эти понятия разделяет). Указанная книга дает настолько богатый материал для такой работы, что не было необходимости в ней что-то выискивать, скорее приходилось отбирать из совершенно равнозначного материала, которого бы хватило на три такие статьи.

* Николай Бердяев. Собр. соч. Т. 1. Самопознание (опыт философской автобиографии). Paris. YMCA-PRESS. 1989.

В Евангелии есть притча о том, что нельзя вливать молодого вина в "мехи ветхие", иначе и мехи прорвутся, и вино вытечет. Молодое вино — это христианское учение, а мехи ветхие — это душа человека с ее дохристианским устроением и мировоззрением. Человек, истинно желающий принять христианство, должен соответствующим образом обновить свою душу, отказаться от всего ветхого в ней, всего противного учению Христа. В биографии Бердяева мы, напротив, встречаем устойчивое сохранение и даже охранение им основных качеств "ветхого человека". Христианство, принятое Бердяевым уже в зрелом возрасте, не было, по его словам, обращением, а было развитием в христианстве основных принципов уже сложившегося мировоззрения. "Одни и те же мотивы, — пишет он, — привели меня к революции и к религии".

Основные темы философии Бердяева — это бунт и свобода. Само христианство Бердяев понимает "как бунт против мира и его закона".

Не знаю, надо ли доказывать, что "кроткий и смиренный сердцем Иисус Христос, который "трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит", к бунту не призывал и был распят главным образом за то, что не захотел стать во главе движения иудеев против римской власти. Говоря о свободе, Христос имел в виду свободу от греха, свободу от лжи, страстей и похотей.

Не может быть свободы вообще (по Бердяеву, "несотворенной свободы"), свобода может быть от чего-то, и чаще всего ищут свободы от христианства. Учение Христа в обычном смысле не есть свобода: "Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко" (Мф. 11, 29—30), и далее: "Всякий, делающий грех, есть раб греха" (Ин. 8, 32, 34).

Хотя Бердяев в детстве жил рядом с Киево-Печерской лаврой, но традиционно-православного воспитания не получил. Отец его был либеральных взглядов, а мать — француженка по происхождению — не находила различий между православием и католичеством, и вера ее носила более бытовой характер. Бердяев в детстве много читал, очень любил Л. Толстого и Достоевского и рано познакомился с немецкой философией. "Характерно, — пишет Бердяев, — что во время моего духовного пробуждения в меня запала не Библия, а философия Шопенгауэра. Это имело длительные последствия. Мне трудно было принять благостность творения. Обратной стороной это был культ человеческого творчества".

В самом деле, философия Бердяева враждебна тварному миру, он не скажет с Псалмопевцем "вся премудростию сотворил еси" или "слава Ти, Господи, сотворившему вся". По Бердяеву, не только "весь мир во зле лежит", но и весь мир — зло есть. Смысл же человеческого творчества достигает космических размеров, вплоть до того, что от творчества человека зависит судьба Творца. Вот примеры из его "Самопознания": "Мне этот мир не только чужд, но и представляется не настоящим, в нем объективируется моя слабость и ложное направление моего сознания" (с. 41), "В Боге есть нужда в человеке, в творческом ответе человека на божественный зов" (с. 204), "Предельное дерзновение в том, что от человека зависит не только человеческая судьба, но и божественная судьба" (с. 239).

Бунт Бердяева (кстати, одна глава в книге так и называется "Бунт") был сродни бунту Ивана Карамазова, не отрицавшего Бога, но и не принимавшего созданного Им мира. Однако Иван понимал то, чего Бердяев не понял или не принял до конца жизни: "Можно ли жить бунтом, а я хочу жить". Бердяев жил исключительно бунтом. Еще студентом Бердяев сближается с еврейскими кругами и принимает активное участие в революционной борьбе. Он увлекается марксизмом и даже становится его идеологом в среде революционеров. На этом поприще он проходит и через тюрьму, и через ссылку. Впрочем, скоро порывает с революционерами, так как не принимает методов террора и их совершенно земных целей.

Затем деятельность Бердяева проходит в среде так называемого "ренессанса начала XX века". Это действительно было время возрождения, но возрождения чего? В России, как и в европейском Ренессансе, наряду с высокой классикой было возрождено в значительной мере и язычество. Античный гуманизм был вершиной эпохи античности, но гуманизм эпохи Возрождения, несмотря на высокие достижения в области искусств, был шагом назад в области духовной. Человек стал мыслиться в отрыве от Творца и Промыслителя, начал заслонять собой Бога и освобождаться от бремени христианства. После "божественного Данте" появились Бокаччо, Маргарита Наваррская, Чосер, Гриммельсгаузен и т. п. звезды Возрождения, безусловно, литературно одаренные, но гуманизм их не только не возносился к небу, но и редко поднимался выше пояса. Конечно, в эту эпоху было написано и немало подлинно духовного, но сам процесс освобождения от "ига Христова" начался и шел параллельно с возрождением свобод языческих. Россия тоже пережила возрождение искусства в XIV—XVII веках, достигнув во всех его видах абсолютных высот, но в отличие от Западной Европы не поступилась при этом истиной христианской. Время "языческого ренессанса" тогда еще не пришло.

Что дал русской культуре "ренессанс начала XX века"? Он, несомненно, дал расцвет всех искусств, а также расцвет русской философской мысли. Но расцвет этот был неразрывно связан с возрождением язычества и как культуры, и как

культа. Христианство стали замещать или накладываться на него всевозможные течения мистики, эротики, оккультизма, чистой эстетики (которая вытесняла этику), а порой вплывало язычество в чистом виде. Бердяев вспоминает случай, когда на квартире поэта Н. М. Минского была устроена "дионисическая мистерия", где кроме хозяина в экстазе кружились: вдохновитель мистерии "глашатай дионисизма" Вяч. Иванов, "христианский" мыслитель В. Розанов, поэт Ф. Соллогуб и другие знаменитости. По словам Бердяева, "вокруг как бы была атмосфера мистической кружковщины". "Молодые девушки влюблялись в тех молодых людей, которые давали понять о своей причастности к оккультным обществам" или "к модному тогда розенкрейцерству".

Большое значение для Бердяева имело общение с кружком Д. Мережковского и З. Гиппиус, куда входили также Д. Философов и А. Белый. Из этого кружка должна была сложиться "церковь св. Духа". Предполагалось, что для "нового религиозного сознания" многие "лицемерные" запреты христианства, в том числе в вопросах пола, должны быть преодолены.

Устраивались "религиозно-философские собрания", где встречались деятели культуры с представителями церковной иерархии. Целью их было устранить причины, препятствующие приходу интеллигенции в Церковь. Но интеллигенты появлялись на этих собраниях не столько затем, чтобы отыскать истину, уяснить для себя учение Церкви, послушать мнения богословов, сколько затем, чтобы заявить о себе как о носителях "нового религиозного сознания", чтобы говорить, а не слушать, чтобы учить, а не учиться.

Бердяев с С. Булгаковым издавали журнал "Вопросы жизни", в котором участвовали Д. Мережковский, В. Розанов, А. Карташев, Вяч. Иванов, Ф. Соллогуб, А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, А. Ремизов, Г. Чулков, Л. Шестов, М. Гершензон, С. Франк, П. Струве, кн. Е. Трубецкой, П. Новгородцев, Ф. Зелинский, В. Кистяковский, Волжский, В. Эрн; из политических деятелей — радикалы-освобожденцы и некоторые более свободомыслящие социал-демократы. Характерно, что эти передовые деятели "религиозного возрождения" рука об руку сотрудничали с освобожденцами и левыми социал-демократами. Это объясняется тем, что в религии они были то же, что революционеры в политике.

Вот, например, Е. Герцык рисует портрет человека, по понятиям той среды заматерелого в православии: "Захаживал ко мне и старик Рачинский, просвещал в православии. Изумительная фигура старой Москвы: дымя папиросой, захлебываясь целыми страницами, гремел по-славянски из Ветхого завета, перебивал себя немецкими строфами Гете и вдруг, размашисто перекрестясь, перебивал Гете великолепными стихирами (знал службу назубок). И все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов — тоже ему близких".

И все это называлось "просвещением в православии".

Показательна и такая деталь: друг Бердяева философ Лев Шестов (Шварцман) и другой его соратник М. Гершензон, всю жизнь писавшие весьма умно о Христианстве, до конца дней так и не крестились. Или, например, скульптор Антокольский, автор многих замечательных статуй, в том числе и Христа, Нестора Летописца, христианской мученицы, также умер в иудаизме. Это говорит о том, насколько глубоко было понято ими Христианство.

В. Розанов только на смертном одре оставил, наконец, свое шутовство и, причастившись, в мире покаяния и почил. Но еще накануне, тяжело болея, он сообщил Бердяеву на ухо: "Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису". В шутку он говорил или всерьез — то и другое одинаково характерно для духовного состояния религиозного интеллигента того времени.

Надо заметить, что "предтечей" и "духовным отцом" мыслителей "ренессанса" был Вл. Соловьев. Это он заложил фундамент "духовной свободы", на котором его последователи построили причудливый лабиринт, в котором и сами заблудились, и своих последователей обрекли на бесконечные блуждания по манящим коридорам религиозной философии. В Москве было организовано религиозно-философское общество "Памяти Вл. Соловьева", в которое, кроме Бердяева, входили С. Булгаков, кн. Е. Трубецкой, Г. А. Рачинский, Вяч. Иванов и некоторые другие вышеупомянутые лица.

Вот приблизительно в такой обстановке сформировалось мировоззрение Бердяева, родилась его философия.

Уже упомянутая Е. Герцык, которую Бердяев считал "одной из самых замечательных женщин начала XX века, утонченно-культурной, проникнутой веяниями ренессансной эпохи", оставила довольно яркие воспоминания о своем друге. Вот как она описывала быт и внешность Бердяева: "Но убогость обстановки не заслоняла прирожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий дух сигареты. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна (жена Бердяева) в помятых бархатах величаво встречала гостей". С этим портретом согласуется признание самого Бердяева: "Но я всегда одевался элегантно, у меня всегда была склонность к франтовству, и я обращал большое внимание на внешность. Я всегда любил сигареты и духи, это для меня характерно" (с. 20).

Такие книги увидела Герцык на столе Бердяева: "Разнообразие: Каббала, Гуссерль — и Ко-

тей, Симеон Новый Богослов, труды по физике, стопочка французских католиков, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь выисканное у букиниста".

Бердяев — "недавний христианин": "Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься от разума и от человеческой гордости!.. А как хотел он полноты слияния со святыней православия! Подавленность, но сейчас же гордая вспышка: "Нет, старчество — порождение человеческое, не божеское. В евангелии нет старчества, Христос — вечно молод. Человек — вечно молод" (ср. Евр. 13, 7).

Бердяев — в зрелую пору: "Там, где другой философ-мистик обнажит пронзенность своей души, покаянно падет перед святыней, он — седлает Христа и паладином мчится в бой, или — выдвигает Его как выигрышную фигуру..." (?!).

"Всего труднее ему общение с философами православия: Булгаковым, Флоренским, всегдашнее затаенное недоверие с их стороны, а с его — тоже затаенный, но кипящий в нем протест против их духовной трусости, затхлости". (Подробнее смотрите Герцык Е. К. Николай Бердяев // Наше наследие. 1989. № 2(8).

Давайте проследим, каковы были основные источники философии Бердяева и его мировоззрения в целом.

"Большое значение имел для меня Л.Толстой в первоначальном моем воспитании против окружающего общества... Но толстовская прививка у меня была и осталась на всю жизнь. Она сказывалась в моем глубоком презрении ко всем лжесвятыням и лжевеличиям истории, к ее лжевеликим людям" (с. 125).

"Вольтер не имел для меня никакого философского значения, но он поддерживал мое свободомыслие. Как это ни странно сказать, но у меня навсегда осталось что-то от Вольтера" (с. 102).

"После пророков, книги Иова, Экклезиаста, Евангелий мои любимые духовные авторы — германские мистики, более всего Я. Беме и Ангелиус Силезиус, отчасти Траулер. Но я, в сущности, всегда думал, что мистическая аскеза, особенно сирийского типа, есть искажение учения Христа" (с. 207).

"Читал я также в это время святоотеческую литературу, но большой любовью к ней не проникся" (с. 183).

"Но я всегда очень любил германскую мистику, почитаю ее одним из величайших явлений в истории духа. Из великих германских мистиков более всего любил Я. Беме. Он имел для меня огромное значение. И я всегда поминаю его в своих молитвах наряду с Достоевским и некоторыми другими любимцами. Мистический гнозос Я. Беме имел семитически-каббалистическую прививку..." (с. 208).

"Но мистика гностического и профетического типа мне всегда была ближе, чем мистика, получившая официальную санкцию церквей и признанная ортодоксальной" (с. 98).

"Более всего меня отталкивали книги еп. Феофана Затворника, самого популярного у нас духовного писателя. Все, что писал Феофан Затворник не об аскезе и внутренней жизни, а о практической морали и об отношениях к общественной жизни, ужасно своей непросветленностью, своим мракобесием и рабством" (с. 217).

Заметим, что нет ничего более чуждого Православной Церкви, чем германская мистика с "семитически-каббалистической прививкой". Трудно отыскать больших кощунников и хулителей христианской Церкви, чем Вольтер и Л.Толстой. Книги же канонизированного к 1000-летию крещения Руси св. Феофана Затворника почитаются Церковью наряду со святоотеческой литературой.

Большое, если не решающее значение для философии Бердяева имел склад его характера.

"С детства я решил, что никогда не буду служить, так как никогда не соглашусь подчиниться никакому начальству" (с. 62).

"Я никому, ничему и никогда не мог подчиниться. Это я проверил на опыте всей моей жизни" (с. 26).

"Всю мою жизнь я был бунтарем. Был им и тогда, когда делал максимальные усилия смиряться" (с. 69).

"Все люди должны были бы быть бунтарями, т. е. перестать терпеть рабство" (с. 70).

Очевидно, что при таком складе характера и при таком состоянии общества Бердяев не мог не стать революционером, это понятно. Но непонятно другое: как он умудрился увязать это с христианством и до конца дней сохранить симпатии к революции. Такая глубина революционности Бердяева происходила из анархизма, неприятия общества и государства, что называется, на дух.

"У меня выветрилась, но никогда не исчезала вполне толстовская и марксистская закваска... Это осталось и доныне" (с. 155).

"Я никогда не верил, что власти присущ божественный элемент. Всю жизнь во мне оставался элемент метафизического анархизма" (с. 99).

"Я вообще не люблю общества. Я человек, восставший против общества" (с. 85).

"Разрыв с окружающей средой, выход из мира аристократического в мир революционный — основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мысли для себя" (с. 43).

"Я давно считал революцию в России неизбежной и справедливой" (с. 260).

"Наивным и смешным казалось мне предположение гуманистов революции о революционной идиллии, о бескровной революции" (с. 260).

"Я сочувствовал падению священного русского царства" (с. 260).

"Я потом начал сознавать, что ответственность за духоборческий, враждебный духовной культуре характер русской революции лежит и на деятелях русского ренессанса начала XX века" (с. 260).

"Меня называют философом свободы. Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я "пленник свободы". И я, действительно, превыше всего возлюбил свободу" (с. 60).

"Я окончательно пришел к сознанию той истины, что дух есть свобода и революция, материя же есть необходимость и реакция, и она сообщает реакционный характер самим революциям" (с. 154).

Очень существенный момент в творчестве Бердяева — это его противоречивость, возведенная в принцип.

"В моей философии есть противоречия, которые вызываются самим ее существом и которые не могут и не должны быть устранены" (с. 331).

Бердяев противоречил и себе, и всему из принципа.

"Я постоянно был в оппозиции и конфликте. Я восставал против дворянского общества, против революционной интеллигенции, против литературного мира, против коммунизма, против эмиграции, против французского общества" (с. 49).

"Но сейчас я остро сознаю, что, в сущности, сочувствую всем великим бунтам истории: бунту Лютера, бунту разума просвещения против авторитета, бунту "природы" у Руссо, бунту французской революции, бунту Белинского против мирового духа и мировой гармонии, анархическому бунту Бакунина, бунту Льва Толстого против истории и цивилизации, бунту Ницше против разума и морали, бунту Ибсена против общества, и самое христианство я понимаю как бунт против мира и его закона" (с. 69).

Не удивительно, а скорее закономерно, что, придя в Церковь, Бердяев взбунтовался. Он не принял ни догматов, ни церковной иерархии, ни старчества и послушания, никакого "пластического выражения" веры, т. е. поклонов, крестного знамения и т. п., ни священной истории, ни святоотеческого учения, ни почитания святых и святынь, ни Св. Предания и даже Св. Писание принимал в том объеме, в котором считал нужным. Никак нельзя понять слова Бердяева: "Я свободный христианин, не порвавший с церковью, т.е. я не хочу быть сектантом" (с. 193). Что же все-таки, какие невидимые нити связывают его с Церковью? Похоже, что только нежелание быть сектантом, но одного нежелания, безусловно, мало.

"Я верил всю жизнь, что божественная жизнь, жизнь в Боге, есть свобода, вольность, свободный полет, без-властие, ан-архия" (с. 67).

"Названная мне истина, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, совсем не есть истина, а есть чертов соблазн" (с. 67).

"Но мой переворот не был обращением в какую-либо конфессию, в православие или даже просто в христианство. Это был поворот к Духу и обращение к духовности. Я навеки сохранил убеждение, что нет религии выше истины, формула, которой злоупотребляли теософы" (с. 94).

"В противоположность господствующим сейчас течениям я всегда верил, что существует не только универсальное христианство, но и универсальная религия" (с. 206).

Здесь Бердяев обнаруживает сочувствие к теософии и межрелигиозному экуменизму. Заметим, что он активно сотрудничал с масонской организацией "Христианский союз молодых людей" (ИМКА), возглавляемой доктором Моттом, с которым был в хороших отношениях и даже пользовался его материальной поддержкой. Но совершенно невозможно заподозрить Бердяева в непосредственной причастности к масонству, хотя бы потому, что он никому не мог подчиниться, даже если бы очень захотел.

"Но я все-таки убежден, что первым мистическим анархистом был я, и об этом я говорил с Мережковским и другими.

И ныне, в конце своего духовного пути, я чувствую себя более, чем когда-либо, "мистическим анархистом" (с. 175).

"Я в сущности всегда думал, что христианство было искажено в угоду человеческим инстинктам, чтобы оправдать свое уклонение от исполнения заветов Христа... Христианство не только не было реализовано в жизни, что всегда можно объяснить греховностью человеческой природы, но оно было искажено в самом учении, вплоть до самой догматики" (с. 77).

"Мне было чуждо переживание священных исторических событий. Одно время я делал усилия признать какие-то священные традиции, но мне это никогда не удавалось и вызывало отвращение" (с. 124).

"Как печально, что христианское благочестие пластически выражается в согбенности, в жестах униженности и подавленности!" (с. 70).

"Рабье учение о смирении исключает возможность бунта и восстания, оно требует послушания и покорности даже злу. Но оно-то и вызвало во мне бунт и восстание. Быть христианином не значит быть послушным рабом. Я был бунтарем" (с. 70).

Возможно, кому-то и нравится такая позиция, она может быть близка и понятна, но надо определенно заявить, что она не имеет ничего общего с учением Христа. Как, например, увязать последнюю цитату со словами Св. Писания: "Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай". — Обратите внимание на продолжение

текста: "Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины..." (1 Тим. 6,1—5).

Но Бердяев занял совсем "неуязвимую" позицию: что надо, оставляет в Св. Писании, что не надо — отметает.

"Особенно отталкивает меня, когда очень ортодоксально православные определяют свое отношение к советской России на основании принципа: "Несть бо власти, аще не от Бога". Слова ап. Павла имеют историческое, а не религиозное значение. Эти слова были источником рабства, низкопоклонства церкви" (с. 395).

Прежде чем что-либо возразить, приведем слова ап. Павла в контексте: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение... И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести" (Рим. 13, 1—2,5). Непонятно, по какому признаку можно определить, какие слова в Св. Писании имеют религиозное значение, а какие только историческое и, стало быть, к исполнению не обязательны. Непонятно также, чем "историческое" отношение Нерона к христианам отличалось от ленинского или сталинского, ведь послание писано в Рим, где и сам апостол вскоре был обезглавлен по приказу Нерона.

Бердяев не принимает евангельских притч, считая, что они являются искажением Св. Писания и в них проявились "садические инстинкты". В толковании Евангелия он использовал простой метод: что укладывается в мою доктрину — то истинно, что не укладывается — то ложь. Подобно тому, как один протестантский богослов взял два Евангелия, вырезал ножницами те места, которые ему нравились, наклеил в тетрадку и получил, таким образом, "Новый завет". Характерно, что и в Нагорной проповеди, которую Бердяев противопоставляет притчам, присутствуют "садические инстинкты", например: "Кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной" (Мф. 5, 22), "ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну" (Мф. 5, 29, 30), "всякое древо, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь" (Мф. 7, 19) и проч. Так что Бердяеву и с Нагорной проповедью без ножниц не обойтись. Но читаем дальше.

"Образ Христа был выше того образа, который раскрылся в Евангелиях уже преломленным в тусклом стекле, приниженным воспринимающей человеческой стихией (с. 353).

"Меня очень утомила игра интеллектуальными понятиями богословия и метафизики, и я верю лишь духовно-опытному доказательству существования Бога и божественного мира" (с. 354).

Здесь, похоже, и Откровение, и догматы отнесены в область интеллектуальных игр. Но перейдем к следующему вопросу, вопросу о вечных адских муках, здесь-то больше всего и разгораются страсти. Во-первых, очень оригинально ставится вопрос: ага, раз не отрицаешь вечных мук — значит, ты садист и желаешь другим вечных мучений.

"В своем отношении к христианству я делил людей на сторонников и противников ада. Этим определялась моя оценка христиан. Я убежден, что сторонниками ада являются люди, которые его хотят, для других, конечно, христиане часто бывали утонченными садистами" (79).

"Для моего религиозного чувства и сознания неприемлемы и те элементы самого Евангелия, которые носят судебный, карательный характер и устрашают адом" (с. 354).

Понятно, что прежде чем отринать догмат, надо отвергнуть Св. Писание, лежащее в его основании. Затем отметается учение Церкви и открывается бесконечный простор для умозрительных построений и "духовно-опытных доказательств", а также для обличения "садистов", которым крыть уже нечем. Однако ни Св. Писание, ни Св. Предание, ни учение св. Отцов не дают повода ни отвергать вечных геенских мук, ни понимать под "вечными" муками какие-либо ужасно продолжительные, но все же конечные. Образованные гуманисты довольно нескромно считают, что они умнее и добрее великих подвижников и учителей Церкви, и пытаются интеллектуальным великодушием спасти род человеческий от геенны.

Святитель Григорий Нисский (394 г.) в своем учении об апокатастазисе, т. е. всеобщем восстановлении, предполагал спасение всех людей и даже демонов, не исключая дьявола. Но Церковь не приняла этого учения, оставляя св. Григорию право на богословское мнение. Это не значит, что каждый, стало быть, может иметь свое мнение в догматических вопросах, а как раз наоборот: каждый христианин должен исповедовать веру так, как исповедует св. Церковь. Современник св. Григория св. Иоанн Златоуст, составитель божественной литургии, в "Беседе о совершенной любви" писал: "Некоторые говорят, что геенны не будет, потому что Бог человеколюбив. Но разве напрасно Господь сказал, что Он грешников пошлет в "огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" (Мф. 25, 41)? Нет, говорят, но только для угрозы, чтобы мы вразумились. А если мы не вразумимся и останемся злыми, скажи мне, то Бог не пошлет наказания? И добрым не воздаст награды? Воздаст, говорят, потому что Ему свойственно оказывать благодеяния, даже и выше заслуг. Итак, последнее истинно и непременно будет, а

что касается наказаний, то их не будет? О, великое коварство диавола, о, бесчеловечное такое человеколюбие! Ибо е м у принадлежит эта мысль, обещающая бесполезную милость и делающая людей беспечными. Так как о н знает, что страх наказания, как бы некоторая узда, удерживает нашу душу и обуздывает пороки, то он делает все и принимает все меры, чтобы исторгнуть его с корнем, дабы потом мы безбоязненно неслись в пропасть". И еще: "Ни один из тех, которые имеют геенну перед очами, не впадет в геенну; ни один из тех, которые пренебрегают геенною, не избегнет геенны".

Откройте любой "Отечник", "Луг духовный", "Цветник духовный", "Духовный маргарит", "Пролог" и т. п. сборники святоотеческих поучений, а также любое догматическое богословие, любое православное исповедание, вышедшее до конца прошлого века, и вы непременно найдете подтверждение слов св. Иоанна Златоуста. И, напротив, в литературе "ренессанса" почти все, кому довелось высказаться на эту тему, предложили свою "версию" понимания "вечных мук". Все версии сводятся к тому, что муки хоть и вечные, но потому-то и потому-то все-таки временные.

А вот скорее характерный, чем неожиданный оборот интеллигентского гуманизма:

"Я мог желать ада сторонникам и уготовителям ада" (с. 80).

Бердяев считает, что "жестокий эсхатологический элемент исходит не от Самого Иисуса Христа, он приписан Иисусу теми, у кого он соответствует их природе" (с. 338).

Ограничимся уточнением: "теми" — это значит "жестокими по природе" св. евангелистами.

Следующая тема — это проблемы пола, брака, семьи.

По-хорошему, тут и проблем быть не должно, потому что в Евангелии и в учении Церкви этот вопрос давно решен. Проблемы возникают тогда, когда заповеди нарушаются, а каноны исполнять не хотят. На этом поприще Бердяев следует за Вл. Соловьевым, В. Розановым и Д. Мережковским, развивая тему свободной (от 7-й заповеди) "христианской любви".

"У меня была страсть к свободе, к свободе и в любви, хотя я отлично знал, что любовь может быть рабством" (с. 108).

"Всю мою жизнь я утверждал мораль неповторимо-индивидуального и вражду с моралью общего, общеобязательного. Это есть неприятие никакой групповой морали, противление установленным этой моралью обязательным связям. Это привело меня к отрицанию обетов как противных свободе человека, обетов брачных, обетов монашеских, присяги и пр. В этом я был революционером в морали" (с. 108).

"Мир не должен был бы знать, что два существа любят друг друга. В институте брака есть бесстыдство обнаружения для общества того, что должно быть скрыто, охранено от посторонних взоров. У меня всегда было странное впечатление неловкости, когда я смотрел на мужа и жену, как будто я подсматривал что-то, что мне не следует знать" (с. 86).

Неужели Бердяеву было бы удобнее, если бы те же люди, на которых он смотрел, находились в тех же отношениях, но не состояли в браке. Это невозможно скрыть "от посторонних взоров", особенно появление детей..

"Не деторождение мне всегда представлялось враждебным личности, распадением личности. Подобно Кирхегардту я чувствовал грех и зло рождения" (с. 90).

"Отталкивание во мне вызывали беременные женщины" (с. 90).

"Элементы рабства всегда были сильны в семье, и они не исчезли и до настоящего времени. Семья есть иерархическое учреждение, основанное на господстве и подчинении. В ней социализация любви означает ее подавление" (с. 86).

"Я осознаю себя прежде всего эмансипатором и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию" (с. 60).

Чтобы так своеобразно "понять и принять" Христианство, надо эмансипироваться прежде всего от Нового завета.

Сейчас, я думаю, необходимость эмансипации, кроме каких-нибудь хиппи, никто отстаивать не будет. Разрушение семейной иерархии обернулось разрушением семьи. И в этом вопросе Бердяев входит в противоречие со Св. Писанием, где сказано: "Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог" (1 Кор. 11, 3).

Все как раз наоборот: язычество, иудаизм и мусульманство не понимают брак как таинство, брак для них социальное понятие. Христианство открывает совершенно новую глубину в понимании таинства брака. В нем прослеживается мистическая параллель с отношением Христа и Церкви. Вот как пишет об этом ап. Павел: "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее" (Ефес. 5, 22—25). В вопросах пола Бердяев доходит до последних столбов и уже совсем не смущается расхождением с Евангелием.

"Настоящий вопрос не в праве на развод, который, конечно, должен быть признан, а в обязанности развода при прекращении любви. Продолжение брака, когда нет любви, безнравственно, только любовь все оправдывает" (с. 87).

Ответим Бердяеву словами его Оппонента: "И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно

человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1, 27)? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотию (Быт. 2, 24), так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею (Второзак. 24, 1 и СС Л)? Он говорит им: Моисей, жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам: кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф. 19, 3—9). А вот слова из чтимой Бердяевым Нагорной проповеди: "А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует" (Мф. 5, 32).

"Несмотря на большую любовь к Л.Толстому, я всегда относился отрицательно и враждебно к идее, положенной в основу "Анны Карениной". Я всегда считал преступным не любовь Анны и Вронского, а брачные отношения Анны и Каренина" (с. 87).

С большой вероятностью можно предположить, как Бердяев относился к Татьяне из "Евгения Онегина", Машеньке из "Дубровского", Лизе из "Дворянского гнезда", — их поведение он характеризовал бы не иначе, как безнравственное. Вот такая "христианская философия"... В заключение еще один пример из области литературы.

"Что делать?" Чернышевского — художественно бездарное произведение, и в основании у него лежит очень жалкая и беспомощная философия. Но социально и этически я совершенно согласен с Чернышевским и очень почитаю его. Чернышевский свято прав и человечен в своей проповеди свободы человеческих чувств и в своей борьбе против власти ревности в человеческих отношениях" (с. 87).

По этому поводу вспоминается замечательная в своем роде книжка Евг. Богата "Что движет солнце и светила", в которой он восхищается одной семьей, состоящей из поэта-народника Михайлова, его друга и их общей жены. Там описывается, как они в течение многих лет жили, что называется, душа в душу, и не было места никакой низменной ревности. Это, по мнению автора, идеальная семья будущего. Сия книга о любви и браке издана была огромным тиражом в издательстве, если не ошибаюсь, "Детская литература".

Добавим еще, что Бердяев не любил монахов и враждебно относился к самой идее монашества. Он считал, что "нельзя допустить автономии пола" (с. 90).

Бердяев в сущности отрицал и Промысл:

"Промысл Божий можно понимать лишь духовно, а не натуралистически. Наиболее неприемлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. Бог никакой власти не имеет, Он имеет меньше власти, чем полицейский" (с. 20).

"Бог открывает себя миру, но Он не управляет этим миром. Этим миром управляет князь мира сего" (с. 351).

Примеры нехристианского и неправославного исповедания Бердяева можно умножить сколько угодно, гораздо труднее найти в его мировоззрении что-либо общего с христианством.

"Весной 1947 года Кембриджский университет сделал меня доктором теологии Honoris causa. Это считается очень почетным" (с. 395). — Для православного мыслителя?!

Закончим эту работу словами оптинского старца Макария, обращенными к Гоголю, впрочем, они истинны и по отношению к Бердяеву, и ко всем христианам.

"Сей ход должен совершаться с каждым христианином, на самом деле, а не по одному имени: сперва посвящение истиною, потом посвящение Духом. Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтобы Дух, пришедши, воскресил его в обновленном состоянии. Если же человек будет руководствоваться, прежде очищения его истиною, своим вдохновением, то он будет издавать из себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее. Всякий взгляни на себя и поверь сердечным опытом слова мои: как они точны и справедливы, скопированы с самой натуры".

"По сей причине советую всем друзьям моим по отношению к религии заниматься исключительно чтением святых отцов, стяжавших очищение и просвещение, как и апостолы, а потом уже написавших свои книги, из коих светит чистая истина и которые сообщают читателям вдохновение Святого Духа. Вне этого пути, сначала узкого и прискорбного для ума и сердца, всюду мрак, всюду стремнины и пропасти. Аминь".

Борис Куркин

КТО ПОСЛЕДНИЙ К МАВЗОЛЕЮ?

(РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕРУЮЩЕГО НАД СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ)

"Мертвый у порога не стоит,
а свое возьмет"
(Русская народная поговорка)

Привычная с самого раннего детства картина: ликующие демонстранты, проходящие колоннами по Красной площади, и улыбающиеся, а ныне все больше озабоченные, лица руководителей нашей коммунистической партии и правительства, приветствующие демонстрантов с трибуны Мавзолея.

И как-то позабылось за всеми историческими передрягами, что стоят-то наши руководители некоторым образом на трибунах покойницкой, во мрачноватом чреве которой экспонируется нечто, символизирующее останки вождя большевизма и всего мирового пролетариата.

Что чувствуют при этом наши руководители — одному Богу известно. Несомненно лишь то, что Мавзолей стал символом революции — события, перевернувшего всю жизнь России, символом ленинизма, символом коммунистического государства — государства "нового исторического типа", как учит нас теория государства и права. Этот "новый тип" характеризуется, помимо всего прочего, тем, что коммунистическое государство в отличие от всех прежних существовавших в истории человечества государств есть государство принципиально атеистическое, т. е. воинственно безбожное.

Религиозное учение Православной Церкви непримиримо с диалектическим и историческим материализмом, ставшим официальной философией коммунистической партии и руководимого ею правительства. Действительно, Церковь верит в Живого Бога, Творца мира, коммунизм не допускает его существования. Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа, коммунизм по сути не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благоденствия, несмотря на широковещательные рекламные заявления о неких общечеловеческих ценностях, из которых не называется ни одна. "Помани меня в даль сытую" — можно было поставить эпиграфом к Программе КПСС (как в старой, так и новой редакциях).

Сферы нравственности, справедливости коммунизм считает условным результатом классовой борьбы (правда, сейчас уже со многими оговорками. А куда денешься?) и оценивает явления нравственного порядка исключительно с точки зрения целесообразности и, следовательно, с точки зрения "кому это выгодно?".

Церковь видит в религии животворящую силу, не только обеспечивающую человеку постижение его вечного предназначения, но и служащую источником всего великого в человеческом творчестве, основу земного благополучия. Коммунизм смотрит на религию как на опиум, а нынешние реверансы нашего руководства в сторону Православной Церкви и бессодержательная болтовня об общечеловеческих ценностях (каких?) есть не что иное, как основание духовной нищеты коммунистической идеологии при отчаянной попытке "сохранения лица", как говорят китайцы.

Напомним, что до сих пор Русской Православной Церкви отказывается в статусе юридического лица, а священники полностью зависимы от партийно-государственного аппарата. До сих пор чудотворные иконы, например, Владимирской Божией Матери, Живоначальной Троицы Андрея Рублева, находятся не в Успенском соборе Московского Кремля и не в Троице-Сергиевой лавре, а фактически под арестом государства. Примеры можно приводить без конца.

Разумеется, при столь глубоком расхождении в самых основах миросозерцания между Церковью и коммунистическим государством не может быть никакого внутреннего сближения или примирения, потому что душою Церкви, условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицает коммунизм, в какие бы утонченные, "новаторские" или "диссидентские", одежки он ни рядился. А по одежке, как говорится...

К числу особенностей государственной жизни нового исторического типа относится и постоянно декларируемая руководителями коммунистиче-

скою государства верность ленинизму. Из этого с логической неизбежностью следует, что верность ленинизму должна подкрепляться не только содержательно, но и символически, например, ритуальным хождением к "мавзолею" с возложением погребальных принадлежностей к его подножию.

Конечно, сам начальник государства может и не любить ходить туда по разным поводам. Однако ходит и не может туда не ходить. Следственно, покойный генсек (или материализованная идея его останков, обретающаяся в госусыпальнице) имеет над живым генсеком неодолимую власть. Значит, над живым начальником стоит другой начальник, еще более живой, "вечно живой", хотя, судя по всему, и мертвый. Верно в народе говорят: "Мертвый слова не скажет, а за него спросится".

И если даже сейчас некоторые наши начальники, включая генсека, клянутся на Красной площади, на которой до переворота шел веселый торг всем, что в наши перестроечные времена зовется дефицитом — семгою, блинами с икрой, чаем и т. п., — в верности делу и телу Ильича, значит, не все в этом мире так просто. Воистину, "где стол был яств, там гроб стоит".

Как справедливо отметил В.Солоухин: "У нас ведь почти как в Древнем Египте. Там каждый последующий фараон считался наследником не предыдущего фараона, а непосредственно Бога Ра". Хрущев, заметьте, не был наследником Сталина, но был верным ленинцем. Брежнев не был наследником Хрущева, но тоже был верным ленинцем и вел нас "по ленинскому пути". И уж, конечно, никто не является наследником бедного Черненко. Все — верные ленинцы" ("Литературная газета", 30.05.90).

Последняя фраза Владимира Алексеевича требует все же уточнения. "Верных ленинцев" у нас было всего трое — Сталин, Хрущев и Брежнев. Далее события развивались столь стремительно, что приучить народ к мысли о том, что каждый последующий руководитель и есть самый верный ленинец (в отличие от предыдущего) не было решительно никакой возможности. Что же касается М. Горбачева, то он обеспечил себе какую-никакую легитимацию в качестве президента СССР. Однако сейчас если его и признают "верным ленинцем", то явно про себя, и тем более, далеко не все. Кроме того, признание Горбачева верным ленинцем в нынешних условиях сослужит ему плохую службу и может изрядно осложнить его и без того нелегкое положение, когда, балансируя на канате, приходится "сдавать" всех по очереди — армию, милицию, КГБ, партаппарат, включая членов Политбюро, на растерзание прессе и избаламученному в изрядной степени, благодаря ее действиям, народу, а некоторых "сдавать" уже и по второму кругу, формируя тем самым железную когорту мальчиков для битья.

Коммунистическое государство, как и всякая социальная структура, нуждалось и нуждается в определенных духовных подпорках. Несмотря на свой грубый, "вульгарный" материализм, наши милостивцы из числа лидеров переворота понимали это своим чутким нутром.

Перед ними, взрывавшими все традиционные устои морали, нравственности, политического сознания, встала задача срочно "укорениться" в враждебной им стране, "застолбив" свою систему ценностей и свою идеологию.

Об идеологии разговор особый, а сейчас мы становимся на вопросе, каковы основные черты "духовности" — термин, который можно применить к большевизму лишь с изрядной издевкой, — взращенной и выпестованной отцами злополучного переворота.

Вот что писал своему лондонскому конфиденту виднейший в ту пору член коллегии ОГПУ и один из творцов ГУЛАГа, а ныне любимчик наших перестройщиков — Бухарин: "...мы ободрали церковь как липку, и на ее "святые ценности" ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим; при ГПУ мы воздвигли свою "церковь" при помощи праюсланных попов (таких же, каковы перестроечные обновленцы вроде А. Меня и Г. Якунина — Б. К.) ... заменили "закон божий" политграмотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон повесили "вождей" и постараемся... открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом" ("Наш современник". 1990. № 8).

Слово "мощи" Бухарину следовало бы закавычить. К мощам святых угодников, источающим благодать, а в ряде случаев и целебное миро, как например, мощи св. Николая-чудотворца, покоящиеся в одном из соборов г. Бари (Италия), набальзамированные трупы имеют такое же отношение, каковое имеет живой организм к пропахшему нафталином чучелу.

Мощи — это непостижимый для современного научного знания феномен, лицезреть которые и получать благодать от которых возможно некому. Однако, к великому сожалению, малограмотные экспромты Бухарина были почти дословно повторены через шесть десят с лишком лет "опытным публицистом" А. Стреляным.

Ничего не попишешь — век политпросвещения...

История житий христианских святых свидетельствует о несокрушимой силе их духовного обаяния и величия. Это то, что не удалось разрушить никому и не удастся никому во веки веков.

Однако новому режиму эти духовные подвижники не только не были нужны, но мешали им в их черном деле разжигания атеистического мракобесия. Режиму в срочном порядке понадоби-

лись свои "герои". И они не замедлили явиться — шпанистых Урицкого и Володарского "замочили" довольно быстро и без особого "напряга", и теперь вся страна вот уже семьдесят с лишком лет никак не может переименовать улицы, носящие их фальшивые имена — имена кровавых убийц-вдохновителей и организаторов массового террора — едва ли не во всех городах и весях нашей необъятной Родины.

Эпохальным было переименование Петрограда в Ленинград. Сейчас даже трудно представить себе всю значимость этого акта. Думается, аналогичный эффект имело бы переименование Москвы в Черненко. И поехало, и пошло. Старинным городам давались имена людей, которыми осмелился бы назваться не всякий мясокомбинат или кожно-венерологический диспансер. В итоге: за Сталиным осталось 7 городов; Кировым — 6, Ворошиловым — 4, Орджоникидзе — 4, Куйбышевым — 2, Дзержинским — 2, Ежовым, Молотовым, Буденным, Свердловым — по одному. Бесовщина с переименованиями разгулялась вовсю. (Подробнее см.: С. Куняев. Времена и легенды // "Дон". 1989. № 5).

Однако для того, чтобы действительно укорениться "навеки в памяти народной", нужно время, подчас весьма длительное (пример со святыми угодниками не пошел, да и не мог пойти им впрок!). Но этого-то времени у главарей переворота как раз и не было. Приходилось спешить. Однако создавать одни традиции, одновременно разрушая другие — вещь абсолютно бессмысленная, тем более то, что пытались вдолбить в сознание людей, было символом разрушения, а не созидания, и, следовательно, нечистью, лишенной духовной благодати.

Создание сонма своих героев проходило на фоне разоблачения этих же героев как "врагов народа", однако несколько "героев" на некоторое время "увековечить" все же удалось. Первым крупным героем большевистского пантеона стал Ильич.

Надо сказать, что начала сказываться потребность не только в героях, но и как бы в "святых". А потому сразу же после смерти вождя возникла идея мумифицировать его останки. Идея эта не новая и восходит к религиозным культам Древнего Египта.

Если учесть при этом, что мумификация тел фараонов осуществлялась в соответствии с религиозными представлениями древних египтян для того, чтобы в нужный момент бессмертная душа фараона смогла вновь вселиться в него, что стремление "ленинской гвардии" сохранить останки пораженного страшной болезнью Ильича вызывает массу дополнительных вопросов. Да помнится, и мумии фараонов не предназначались для всеобщего любопытства и назидания юношеству. Напротив, потревоживший сон фараона рисковал подвергнуться страшной каре. Трудно сказать, осознали ли большевистские лидеры, какую игру они затевают и каковы будут ее последствия.

Впрочем, есть основания полагать, что сознавали. Так, Бухарин писал о необходимости достижения бессмертия в кратчайшие сроки как о неписаном, но главном пункте большевистской программы, автором коей он был.

Смерть, по Бухарину ("курносая меньшевичка"), есть самое ужасное и самое контрреволюционное (?! — Б. К.) в мире существо, средство от которого должен был непременно выдумать немец-ученый (опять немец! На своих ученых главари переворота никогда не полагались — Б. К.).

Без изобретения средства от смерти Бухарин не видел смысла даже в самой Мировой Революции — этом Красном петухе Светлого Будущего. Отсюда и предлагаемое им разделение труда: немец придумывает свои пилюли или еще чего там, а большевики с присущим им и только им размахом продолжают грабить, убивать и насиловать Россию во имя все той же Мировой Революции.

Странно, видно, было главарям переворота уходить в явно не лучший для них мир: ничего хорошего для себя они там не ожидали. И правильно делали. Что ж, как говорил Апостол Иаков, "...и бесы веруют, и трепещут" (Иак. 2, 19).

Неясно, впрочем, и то, на какой круг лиц было рассчитано чудесное немецкое снадобье: на всю Россию или же только на большевистскую "головку"? Нетрудно вообразить, какая драчка вышла бы промеж членов Политбюро и ЦК за дефицитное зелье!

Уместно будет напомнить в этой связи, что сама идея плотского земного бессмертия есть идея чисто сатанинская, ибо тварное существо — человек — противополагает себя тем Промыслу Творца и Жизнедателя и стремится уподобиться Ему в Его всесилии. Источник сего делания — демонская гордыня.

В общем мумификация трупа Ленина, обернувшаяся, по словам Бухарина, весьма "прибыльным делом для ученой магии", имела все ж некий запредельный смысл.

Умонастроение и мироощущение "бухарчиков" очень точно выразил один из героев платоновского "Котлована", убежденный в том, что "успехи высших наук", под которыми он разумел, естественно, марксизм, сумеют "воскресить назад сопревших людей".

"Отчего же тогда, — рассуждал он, — Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу".

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Ленин лежал совсем уж без работы, кто же тогда за идеологией надзирает?

Как нетрудно убедиться, совсем недалеко ушли "бухарчики", эти "мальчики" из Достоевско-

го, в своем духовном развитии от несчастного калеки Жачева — представители (пользуясь терминологией "бухарчика") "диких партийных низов" и "коммунистического быдла". Знали бы партийные низы, что думают о них их любимцы! В спешном порядке труп "бешеного революционера", "великого разрушителя и липового теоретика" (по выражению Бухарина) набальзамировали, а пораженный неприличною болезнью мозг выставили на всеобщее обозрение в банке со спиртом, к великому огорчению Надежды Константиновны. Правда, спохватившись, оба полушария, одно из которых было величиной с грецкий орех и висело как бы на веревочке, отправили "для исследования" в Германию (вновь "на немецкие деньги"), где следы их затерялись (См. "Сельская молодежь". 1989. № 10. С. 37).

Кроме того, по проекту Щусева была построена "мавзолея", по своим архитектурным формам поразительно напоминавшая Пергамский алтарь. Иисус, как известно, обратил к Пергамской церкви (Пергам — город в Малой Азии) весьма загадочные слова: "Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны" (Откр., 2, 13). Очевидно, что в Пергаме в те поры находился центр сатанинского культа. Известно также, что Щусев получил всю необходимую информацию от Й. Поульсена, признанного авторитета в археологии.

Действовал ли Щусев по указанию свыше или столь своеобычным способом выказал свое отношение к революции и ее вождю — тема отдельного исследования.

Факт остается фактом — на главной площади страны стоит подобие алтаря сатанинского храма, в котором лежит... Впрочем, что за экспонат там лежит?

Известно, что саркофаги, в которых лежали первоначально трупы Ильича и товарища Сталина, являют собой холодильники. До сих пор труп Ильича выглядит вполне "свежачком", но каждому, кто хранил в холодильнике, скажем, огурцы, известно, что после нескольких дней лежания в холодильнике они скукоживаются. Если учесть, что человек, равно как огурец, процентов на 90 состоит из воды, то логично было бы предположить, что и покойничек тоже должен был бы сморщиться. Ан не сморщивается. Вот и приходит на ум шальная мысль: или это непостижимая "игра натуры", или лежит там вовсе не Ильич, а лишь кукла. Элементарное чучело, так сказать.

Тогда возникает законный вопрос, чьим останкам мы присягаем на верность и поклоняемся? А ну как... чучелу?

Конечно, можно было бы предположить, что лежит там вовсе не Ильич, а лишь материализованная идея останков Ильича. И поклоняемся мы лишь этой идее, т. е. в известном смысле некой абстракции. Бесспорно, открытое признание этого факта, разумеется, если наши догадки верны, было бы известным "шагом вперед" в саморазвитии философии нашего "идолопоклонства".

Однако смех в сторону: тот культ чучела, который мы имеем место наблюдать, есть не что иное, как самая грубая форма язычества с примесью восточных культов, включая и поклонение сатане. Думается, впрочем, ничего иного большевистские лидеры изобрести и не смогли, причем по объективным причинам. Как писал прекрасный русский поэт Ю. Кузнецов:

> Но мать-земля не принимает тело,
> А душу отвергают небеса.

Воистину ни жив ни мертв. В общем, земля, как говорится, не приняла. Хотя приняла даже Сталина, правда, не сразу.

Но на этом парадоксы "мавзолеи" не кончились.

Как сообщила недавно охочая до всякой "дичи" газета "Аргументы и факты", в хрущевские времена во чреве мавзолея для приглашенных на сю трибуну устраивались столы с выпивкой и закуской, дабы тогдашние руководители нашей партии и правительства не слишком страдали, выстаивая по разным поводам на трибунах госпоминицкой в погоду и непогоду.

Короче, не прошло и тридцати лет, и отношение к покойнику стало вполне циничное и языческое, являя собой сущее свинномордие.

Итак, если учесть, что мы имеем дело не с телом Ильича, а с чучелом, символизирующим Ильича-покойника, то налицо какой-то совершенно новый явно "запредельный" феномен, отличный от феномена куклы или огородного пугала, поскольку и кукла, а уж тем более огородное пугало, символизирует живого человека, и уж никак не покойника. Ибо кукла-покойник будет пугать детей, а чучело-покойник перестанет пугать ворон.

С другой стороны, столь панибратское отношение к чучелу покойничка вполне естественно.

Ибо мумия символизирует преодоление времени, что в случае с Ильичем неизбежно отодвигает в бесконечность и процедуру похорон. А раз так, то бесконечными становятся и поминки, с присущими им выпивкой и закуской. Так что участники мавзолейно-могильных застолий все делали правильно, хотя сами того, может быть, и не осознали. Все верно: "закоп" откладывается — пьянка продолжается.

Мало-помалу и сама Кремлевская стена стала заполняться прахом разного рода героев, многие из которых признавались впоследствии преступниками, превращаясь в своего рода государственную усыпальницу — совершенно новое слово в истории фортификации.

Хрущевская "оттепель" ознаменовалась "воз

рождением", точнее гальванизацией трупа "всепобеждавшего" некогда учения, и не могла этим не сопровождаться, поскольку теория, будь она самая что ни есть всепобеждающая, — дело в общем-то темное, а труп Ильича давно уже, аккурат со смерти вождя, стал "знаменем, силой и оружием" партии. "Ленин и теперь живее всех живых", как писал Маяковский.

Мы, кажется, до сих пор не отдаем себе отчет в том, что объявив покойника "живее всех живых" (добро бы некоторых, то еще куда ни шло, а то всех!), Маяковский вольно или невольно (скорее всего, невольно) нанес страшное оскорбление всей партии (что же она труп, что ли?). И как может труп быть "живее" кого-то? Но оскорбить партию так значило подписать себе смертный приговор, ибо это означало, что оставшиеся покамест в живых по смерти Ильича вожди никакие вовсе и не вожди (по сравнению с ним), а так — взявшаяся непонятно откуда шушера.

Итак, культ трупа Ильича восторжествовал. Но всякий культ требует и определенного ритуала отправления. Это понимали даже самые "архаически" и "нигилистически" настроенные идолопоклонники. И этот ритуал был выработан.

Начнем с регулярных посещений "мавзолеи" руководителями нашей партии и правительства, а также руководителями братских (как говорилось до недавних пор) и не совсем братских партий. Складывается впечатление, что иноделегации едут в нашу страну уже с заранее заготовленными погребальными принадлежностями.

Пионеров, после вручения им галстуков, также непременно ведут к мавзолею, и по своему пионерскому опыту знаю, что не у всех детишек это посещение вызывает однозначно положительные эмоции.

Вообще с памятниками вождям мирового пролетариата происходит ныне что-то неладное. Настолько неладное, что Секретариату ЦК КПСС пришлось созывать целое совещание, основное внимание на котором уделялось сохранности памятников Ильичу, приравненных самым изумительным образом к памятникам истории и культуры. С прочувственными речами в защиту каменных и чугунных идолов-чудищ выступили на нем министр культуры Н. Губенко и скульптор, лауреат Ленинской премии Л. Кербель. Понятна, конечно, активная гражданская позиция этих людей: Н. Губенко сам играл Ленина да еще в куче телесерий, а Л. Кербель ставил Ильичу (равно как и Марксу) эпохальные памятники, занесенные во все каталоги Ленинианы. И если бы было принято решение "об изъятии Ленина из нашей истории", то Н. Губенко и Л. Кербель оказались бы в явном накладе, хотя и в неравной мере: как-никак нынешний министр культуры играл не только Ильича, а вот скульптор рискует остаться без своих любимых истуканов, поскольку никого другого, кроме вождей, он за свою жизнь особо и не лепил.

И если Секретариат ЦК КПСС не предпримет чрезвычайных мер, то в самое близкое время канут в небытие и бесчисленные мемориальные доски установленного образца: "Здесь... "мартобря"... года... перед... выступал В. И. Ленин", одна из которых украшает ограду Московского зоопарка.

С именем Ильича стало связываться все, что возможно и невозможно, от города на Неве, названного в честь святых Апостолов Петра и Павла, до Чернобыльской АЭС, ее полным именем, т. е. именем В. И. Ленина.

Думается, что неудачи, которые потерпели объекты, связанные с именем Ленина, обусловлены тем, что сам вождь олицетворял собой силы разрушительные, сугубо деструктивные, а в конструктивном он не преуспел, да и не мог преуспеть. Одним словом, действовал вопреки "мировой гармонии", а всякое действие, лишенное живительной силы и благодати Святого Духа, есть неминуемая смерть.

Однако культ мертвечины пронизал "всепобеждающую революционную идею" задолго до смерти Ильича, и можно сказать, был рожден ею.

Рассмотрим для этого тексты, официально признанные адептами марксистской идеи.

Как начинается "Манифест Коммунистической партии"? "Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма..." (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 423). Как видим, коммунистическая идея начинается с покойника, причем такого покойника, который навевает ужас, хотя далеко не всякий покойник навевает ужас. Покойником она и заканчивается.

А как начинается "Интернационал"? — "Вставай, проклятьем заклейменный..." Однако каждому мало-мальски грамотному человеку известно, что заклеймен проклятьем — сатана, а потому дальнейшие слова "весь мир голодных и рабов" вставлены явно не к месту.

Никогда не забуду, как одна пожилая крестьянка, услышав из репродуктора начало партийного гимна, сказала: "Ну вот, опять сатану кличут, идолы". И перекрестилась. А о чем поется в революционных песнях? "Вы жертвою пали в борьбе роковой..."

А в песнях времен гражданской войны? — "И как один умрем в борьбе за это!"

В сущности — верх бессмыслицы, ибо если все "как один умрем", то бороться за "это" вряд ли имеет смысл, хотя бы потому, что сила противостоящая почти неодолима, и, как явствует из предыдущих текстов, роковая. Но язык чудесным образом объясняет то, чего не смогли вовремя объяснить теоретики.

В сущности "революционная культура" — это культ мертвечины. И мертвечина эта пустила глу-

бокие корни в сознании общества. И иначе не могло быть, ибо общество стало безбожным и открыто провозгласило себя таковым.

Я уже не говорю о сознании наших партийных руководителей во главе с Хрущевым, решивших наказать товарища Сталина — к тому времени покойника — и вынести его останки из мавзолея, дабы другим покойникам неповадно было. Совсем иначе относится к этой "акции" один из моих друзей. "Вот, — любит повторять он со значением, когда ему рассказывают о "новых" преступлениях товарища Сталина, — даже такого земля приняла!"

А ряд делегатов XXVIII съезда КПСС поставил вопрос совсем круто: об исключении товарища Сталина из партии. Тема исключения покойников из различного рода общественных организаций, включая КПСС, настолько любопытна, что на ней придется остановиться подробнее.

Итак, что значит быть членом той или иной организации, зарегистрированной в соответствующем участке?

Как правило, это значит уплачивать членские взносы и иметь соответствующий членский билет. Казалось бы, это может делать лишь живое лицо, но никак не покойник. Но, как выясняется, не все так просто.

Помнится, когда коммунистам вручали партийные билеты нового образца, билет № 1 получил В. И. Ленин, а выписал его покойному генсеку генсек в те поры здравствующий — Л. И. Брежнев.

Из этого следовало, что состояние покойника не препятствует его членству в КПСС. Требование ряда делегатов XXVIII съезда КПСС исключить Сталина из партии подтверждает эту мысль.

Есть и еще один тонкий момент. В. М. Молотов, исключенный за участие в антипартийной группе из рядов КПСС, билет свой не сдал, и более того, регулярно посылал членские взносы, покуда, наконец, тайным указом не был восстановлен в партии, что избавило Вячеслава Михайловича от необходимости выплатить довольно значительную сумму партвзносов, набежавшую за время его "вынужденного прогула", так сказать, "чохом". Так возникает проблема формального и фактического членства в КПСС.

В этой связи исключение товарища Сталина из партии должно было бы иметь место с какого-то определенного момента. Но вот с какого? Со II съезда РСДРП? 1917 г.? 1953 г.? Естественно, что у его наследников возникли бы имущественные претензии к КПСС, которая должна была бы возместить покойнику материальный ущерб, связанный с его исключением из КПСС.

С другой стороны, Устав требует, чтобы вопрос об исключении из рядов КПСС решился хотя бы на первых порах с участием данного лица. Следуя логике делегатов XXVII съезда, следовало бы для начала воскресить товарища Сталина и только потом призывать его к партийной ответственности.

Если мы будем думать, что вера в своеобразное "инобытие" генсеков присуща лишь партийной голове, то мы глубоко ошибемся.

Так называемый известный "прораб духа" и "перестройщик" А. А. Вознесенский требовал восстановить покойного Б. Л. Пастернака в Союзе писателей СССР. Так и видится сюжет программы "Время", когда покойнику усилиями А. А. Вознесенского возвращают членский билет СП.

Так что ход мысли пребывавшего в маразме Л.И.Брежнева и по видимости здравствующего душевно прораба перестройки А. А. Вознесенского весьма схож. До того схож, что и различий не наблюдается. Из той же серии и требование мадам Боннэр исключить покойного академика Сахарова из числа Нобелевских лауреатов, поскольку покойному не пристало состоять в одной компании лауреатов с Горбачевым. Одним словом, налицо попытка сделать бывшее — небывшим.

А один из основателей Детского фонда им. В. И. Ленина — А. Лиханов выступает с инициативой отобрать у покойного Л. И. Брежнева Ленинскую премию. Конечно, отобрать у покойничка не его трудом добытые деньги — придумка неплохая. Но вот что озадачивает: сами инициаторы еще никаких премий получить не сподобились, а у других, хотя бы и покойников, их отнимают.

Одним словом, формула: "Ленин всегда живой" — это нечто большее, нежели затасканная пиитическая метафора, это отражение особой реальности, присущей лишь безбожному обществу.

Так что — "Ленин всегда живой, Ленин в твоей судьбе, Ленин в тебе и во мне". В этом тайна и суть коммунистической культуры, в основе которой лежит культ мертвечины. Этому нисколько не противоречит то, что кладбища пребывают в мерзости запустения, а к тайнам жизни и смерти отношение в обществе самое хамское. Умирать в совдепе — это подвергнуть жестокому наказанию своих ближних. А в основе всего этого — все то же безбожие. "Ох, блюдите, како опасно ходите!"

В общем, до тех пор, покуда не сбросим мы с величественных пьедесталов поганые идолища, символизирующие начальников и убийц, доведших страну до братоубийства, а будем класть к их подножию цветы, дело на лад не пойдет. Не случайно киевский князь Владимир прежде чем крестить Русь, приказал уничтожить изображения идолов.

И потому вызывает тревогу и возмущение тот факт, что вместо одних идолов, покачнувшихся на своих пьедесталах, сложенных из черепов наших соотечественников, наши голосистые либерал-демократы спешно заготавливают новые поганые истуканы. Примером чему может служить широко развернутая под треск и болтовню об общечеловеческих ценностях кампания по "отмыванию" и "пьедестализации" одного из самых

кровавых главарей октябрьского переворота — Троцкого.

Свежий пример — выступление 05.09.90 г. по ЦТ генерала от перестройки Д. Волкогонова, явно желающего услужить нынешним законодателям политических мод.

Так вместо выбывших из игры Сталина и Ленина на поле, где осуществляется промывание народных мозгов, выходит "демон революции", "злейший враг сталинизма" и верный соратник Ильича — Троцкий.

Правду сказать, от словосочетания "демон революции" за версту несет сатанизмом, но не повернется же язык сказать: "ангел революции". Какие ангелы могут быть у революции? Только демоны, бесы.

В общем, князь тьмы не дремлет. Но нам-то зачем менять одни идолища на другие, вместо того, чтобы сбросить и те и другие в выгребные ямы?

Не сразу поймешь и наших либералов-демократов, создающих с таким истеричным надрывом верного ленинца Троцкого и разоблачающих одновременно самого "махатму" как изрядного злодея. Есть такая надобность, оттого и Свердлова стараются в обиду не давать.

Все это оказывается возможным лишь в условиях глубокого невежества значительной части нашего общества в вопросах религиозного порядка — печального итога отстранения, а затем и самоотстранения наших людей от христианского вероучения, пагубного неведения в вопросах христианского вероучения.

А нынче, чем ближе к полуночи, тем настойчивее и яростнее атакует психику людей наше телевидение, пропагандируя немудреные бесовские чудеса, известные каждому мало-мальски грамотному христианину, изображая лжецелителей, лжепророков и попросту колдунов, сущих служителей тьмы — в качестве нашего национального достояния.

Этим новоявленным героям страны Советов, как по команде вытеснившим с голубых экранов маразмирующих генсеков, отдают свои полосы (за редчайшим исключением) наши газеты и журналы — от желтых до красных.

И вот что характерно: невозможно припомнить ни одной передачи, ни одной статьи, в которой бы речь зашла о подлинных чудесах, сотворенных христианскими святыми. Видно, нашей прессе и ТВ по сердцу лишь чудеса бесовские.

В общем, если дело так пойдет и дальше, то весьма вероятно, что в самое ближайшее время в наших вузах будут введены курсы демонологии и черной магии, а авторам учебников по этим предметам будут вполне обоснованно присуждаться Ленинские и прочие премии.

Ох, "блюдите, как опасно ходите!"

И не нам ли было сказано, что явятся еще лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса?

А в общем-то, все логично: люди, не верующие в Бога, не верят и в существование дьявола и попадают прямо в его объятия.

Ни Веры, ни Царя, ни Отечества как такового не было дозволено иметь нашим отцам и матерям. Вместо всего этого — Ленин-Сталин единый и неделимый, потом просто Сталин, а затем просто Ленин. Разумеется, это стало возможным лишь в обезбожившейся стране, когда вместо Бога в душах людей поселяются идолы. Ужасно и то, что тандем Ленин-Сталин действительно стал символом всего того, чему учили людей с детства — веры в добро, патриотизма, неким подобием нравственного идеала. И хотя это было ни чем иным, как особо извращенной формой язычества, но никто ведь не станет утверждать, что нашими отцами и дедами, их поколением двигали корыстные чувства. Увы, нам, увы. Все было искренно и шло от сердца. И тем было ужаснее.

И вот когда идол опрокинут, а сердце тех, кто свято верил в Сталина как неосознанный символ Веры, Царя и Отечества, образовалась пустота. И еще резко почувствовалось, что без идеала жить нельзя, просто физически невозможно. Но путь к Богу многим из них оказался заказан. Что остается? Чучело Ильича да преступный Пахан (он же товарищ Сталин).

А когда рушатся один за другим моральные устои, когда все становится позволено, когда рушится, наконец, само государство, обладающее химической и атомной промышленностью, чем создается угроза жизни всем его гражданам, то что же выкрикнет честный безбожник? А вот что: "Защитим Ленина!", "Да здравствует Сталин!"

Вот вам и феномен Нины Андреевой, столь немилосердно напугавшей всего лишь одной своей статьей всех наших либералов-демократов. Да так, что те до сих пор не могут простить ей своего испуга. А если добавить ко всему этому, что и всепобеждающее учение лопнуло, как мыльный пузырь, то есть от чего честному партийцу и безбожнику прийти в отчаяние.

И опять не к Богу он идет, а к мавзолею (ведь "Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин".), обрекая свою душу уже не от энтузиазма, как прежде, а от отчаяния на верную погибель.

Неужто не научили нас большевики, что откинув Бога и поставив себе целью строить рай на земле, где под раем понимаются неоскудевающие корыта с отрубями, мы ни к чему не придем, кроме разрухи? "Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии" (Пс. 126).

Неужели стольких лет разрухи и мучений недостаточно нам для того, чтобы порвать с идолопоклонством, ибо идолопоклонство есть служение сатане, отпадание от источника жизни? Когда же мы наконец поймем, что смерть есть отпадание от источника жизни? А поймем мы это лишь тогда, когда обратимся к Богу и никак не ранее того.

Так что "испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы..." (Еф. 5, 10—11).

РАСПЛАТА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КРОВАВЫЙ ПУТЬ К ФАШИСТСКОЙ "ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИМПЕРИИ"

21 июня 1941 года. Вражеские полчища изготовились к гигантскому броску против Советского Союза. В этот день Гитлер направляет своему союзнику по фашистской "оси" — Муссолини специальное послание. В нем он объявляет "дуче" о своем решении напасть на СССР.

Чудовищны были замыслы гитлеровцев в отношении народов Советского Союза. Одним из порождений этого явился пресловутый "Генеральный план "Ост", разрабатывавшийся под руководством Гитлера, Гиммлера, Розенберга и других фашистских главарей. В течение 30 лет они намеревались полностью расчленить и колонизировать Советский Союз, выселить из его западных областей в Сибирь и на Северный Кавказ около 50 млн. человек, а оставшееся население онемечить. Для подрыва "биологической силы" русского народа были придуманы самые изощренные, изуверские методы. На первом месте здесь стояло истребление интеллигенции. Гитлеровцы исходили из того, что без интеллигенции, как носительницы культуры, просвещения, технических и научных знаний и способностей каждой нации, русский народ и другие народы Советского Союза будут лишены возможности нормального развития, обречены на деградацию и превратятся в конечном итоге в бессловесных рабов германских господ.

В послании Гитлера Муссолини от 21 июня 1941 года уже даются некоторые наметки этих планов. Вот выдержки из этого документа

"Дуче! Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившееся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не в праве больше терпеть положения после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями.

...Англия проиграла эту войну.

...Положение в самой Англии плохое, снабжение продовольствием и сырьем постоянно ухудшается. Воля к борьбе питается, в сущности говоря, только надеждами. Эти надежды основываются исключительно на двух факторах: России и Америке. Устранить Америку у нас нет возможностей. Но исключить Россию — это в нашей власти. Ликвидация России и будет одновременно означать громадное облегчение положения Японии в Восточной Азии и тем самым создаст возможность намного затруднить действия американцев с помощью японской интервенции.

В этих условиях я решился, как уже упомянул, положить конец лицемерной игре Кремля. Я полагаю, т. е. я убежден, что в этой борьбе, которая в конце концов освободит Европу на будущее от большой опасности, примут участие Финляндия, а также Румыния.

...Если я Вам, дуче, лишь сейчас направляю это послание, то только потому, что окончательное решение будет принято только сегодня в 7 часов вечера. Поэтому я прошу Вас сердечно никого не информировать об этом, особенно Вашего посла в Москве, так как нет абсолютной уверенности в том, что наши закодированные донесения не могут быть расшифрованы. Я приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту.

С сердечным и товарищеским приветом

Его высочеству главе королевского итальянского правительства Бенито Муссолини, Рим".

Приведенный документ примечателен во многих отношениях. Он очень ярко раскрывает "психологию агрессии", так свойственную германским империалистам и милитаристским кругам вообще. Он показывает, как с азартом карточного игрока и с преступной безответственностью клика Гитлера играла судьбами государств, миллионов людей. Сделав первый шаг на пути агрессии и не рассчитав, к чему этот путь приведет, она уже не могла остановиться. Оказавшись не в состоянии полностью реализовать стратегические планы на Западе и вывести Англию из войны, гитлеровская клика бросается в новую безумную авантюру на Востоке в надежде быстро сокрушить Советскую Армию и окончательно расчистить путь для достижения полного господства в Европе и для проведения колониальных завоеваний. Но все эти надежды и замыслы рухнули: Советский Союз явился неодолимым барьером для фашистской агрессии, и к стремлению к мировому господству.

Материал к печати подготовил В. Трушов, кандидат исторических наук.

Сдано в набор 29.10.91 г. Подписано в печать 20.12.91 г. Формат бумаги 70x100/16, Бумага типографская № 2. Уч-изд. л. 14,1. Тираж 20.000. Заказ 1061. Адрес редакции: 350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59. Телефоны: главный редактор — 52-29-44, заместитель главного редактора, секретариат — 59-22-60. Типография издательства "Советская Кубань". 350680, Краснодар, ул. Шаумяна, 106.